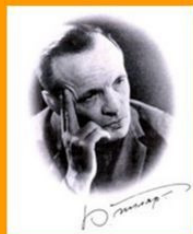


18+

Юрий Пиляр

Ирина Пиляр

## СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. ТРЕПЕТНОЕ МГНОВЕНИЕ



**Юрий Пиляр  
Ирина Пиляр**

**Семейный альбом.  
Трепетное мгновение**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=53660595](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=53660595)*

*ISBN 9785449862969*

**Аннотация**

Свое название «Семейный альбом. Трепетное мгновение» – новый сборник получил не случайно. Повести, рассказы и эссе авторов сборника позволяют высветить забытые лица предков, приоткрыть историю одного старинного аристократического рода, заглянуть в глубину веков, немного побыть в позапрошлом и прошлом столетиях, а потом плавно перейти в наше недалекое прошлое. Объединяющим началом всей книги является семейный портрет, узнавание себя самого в своем прадеде и прабабке, своем деде и отце.

# Содержание

Предисловие	6
Часть первая	12
Вор-воробей	12
Моя семья	12
Страшный сон	15
Серёга	22
На Кубене	31
Заблудился	37
Князь Шуйский	42
В папином кабинете	48
Праздничным вечером	54
Сёстры, Люба и костыли	60
Я цыган	65
У лесорубов	70
Опять собака	76
Как мы с Ксеньей болели	82
Папа и мама	89
Он не умрёт	93
Талая земля	99
Семь лет спустя	99
Друзья-приятели	103
Нина	109
Поход в столовую	114

Урок литературы	123
Футбол	127
Дома	130
Муки творчества	138
Немецкий	144
У нас всё ещё впереди	149
Любимый учитель	158
Трепетное мгновение	166
Елизарово	166
Я – домашний учитель	172
Мария Августовна	176
Кое-что о воспитании характера	182
Избранное общество	186
Конец ознакомительного фрагмента.	191

# Семейный альбом. Трепетное мгновение

**Юрий Пиляр**  
**Ирина Пиляр**

*СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОТЦА*

*И 75-летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...*

*Редактор Людмила Маковейчук*

*Технический редактор Ирмели Таласйоки*

*Художник Юлия Колга*

*Оформление книги Ирина Пиляр*

© Юрий Пиляр, 2020

© Ирина Пиляр, 2020

ISBN 978-5-4498-6296-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Предисловие

В литературу 60-х годов фронтовик, бывший узник концлагеря Маутхаузен, Юрий Пиляр пришел со своей темой – темой фашистских концлагерей, и этой теме писатель остался верен до конца, до последних своих дней. Вот, что он сам написал о себе в своем дневнике: «Я – писатель-антифашист, в юности был активным участником антифашистского Сопротивления в Маутхаузене.

Вся моя сознательная, с 1956 г., жизнь направлена на борьбу с этим дьявольским явлением – германским фашизмом: мои романы, повести, очерки, выступления по радио и телевидению. Этот дьявол во плоти, сгубивший более 50 млн. человеческих жизней и создавший *ад* на земле – концлагеря. Я пытался, как писатель, вскрыть изнутри и со всех сторон – в назидание потомкам – природу сего страшного явления!»

В сборник **«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. ТРЕПЕТНОЕ МГНОВЕНИЕ»** вошла ранняя повесть Юрия Пиляра **«Все это было»**, с которой он начал свой путь писателя-антифашиста. В этом, по сути автобиографическом повествовании, показаны страшные годы военного лихолетья, с 1942 по 1945, которые герой повести провел в застенках концлагеря Маутхаузен.

Трилогия **«Вор-воробей»**, **«Талая земля»**, **«Трепет-**

**ное мгновение»**», предшествующая военной повести, рассказывает о детских, отроческих и юных годах автора. В этот период жизни складывается характер, воспитывается воля, а главное проникают в душу героя все те ценности, полученные в семье, которые позволили ему чуть позднее, в неполных восемнадцать лет, преодолеть нечеловеческие испытания, выпавшие на его долю в фашистском лагере смерти.

Кроме того, в сборнике «Семейный альбом», читатель встретится с рассказами выпускницы Литературного института в Москве, Ириной Пиляр, дочерью Юрия Пиляра.

Идея совместной книги отца и дочери появилась давно, еще в ту пору, когда они оба увлеченно работали над киносценарием «**Матрешка**» в 1975 году. Позже, творческий руководитель Ирины Пиляр на отделении прозы в Литинституте, известный писатель Анатолий Ким, положительно оценивал художественные работы своей студентки и не раз предлагал их к публикации.

Постепенно родился общий замысел книги «Семейный альбом», позволивший высветить забытые лица предков, приоткрыть историю одного старинного аристократического рода, заглянуть в глубину веков, немного побыть в прошлом столетии и на рубеже веков, а потом плавно перейти в наше недалекое прошлое и соприкоснуться с настоящим. Наряду с художественными произведениями, включенными в сборник, встретятся жанры и документальной прозы, и дневниковые записи, и эссе. Но объединяющим началом всей кни-

ги, повторяем, является семейный портрет, узнавание себя самого в своем прадеде, деде, отце, а это уже не только личная история, но и немного всеобщая...

В эссе **«Пояснение к анкете»** писатель Юрий Пиляр впервые открывает свое происхождение. Древний баронский род Пилар фон Пильхау имеет глубокие корни, правда, здесь еще немало темных пятен. Об этом, о своих более близких родичах, некоторых биографических подробностях увлекательно и с добрым юмором рассказывает автор.

Первую часть сборника завершают **«Странички дневника писателя»**, написанные в больнице (1987 год), в последний короткий период жизни писателя, несколько месяцев не дотянувшего до своих 62-х лет.

Вторую часть книги открывает пробная работа Юрия Пиляра в качестве киносценариста при участии юного соавтора – шестнадцатилетней дочери Ирины. Матрешка – это символ, любимый сувенир, который привозит своим чешским подругам одна московская школьница. А на чешском курорте она оказывается, сопровождая на лечение своего оvdовевшего отца, ветерана войны, воевавшего, между прочим, и в этих местах, недалеко от Праги, а впоследствии попавшего в концлагерь и заработавшего весь тот букет болезней, который и пытается излечить здесь, на целебных чешских водах...

**«Матрешка»** – это и своеобразный переходный мостик к творчеству Ирины Пиляр, ибо впервые в центре повест-

воваания появляется девический образ, образ героини, который будет присутствовать на страницах произведений, составляющих вторую часть сборника **«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. ТРЕПЕТНОЕ МГНОВЕНИЕ»**.

В рассказе **«Дедушка Айджан»** (1984 г.) читатель оказывается в далекой казахской степи, где в доме таинственного старика-травника собрались жаждущие исцеления женщины. «И, – как пишет писатель Анатолий Ким, – началась исповедь не литературной, а живой души о жизни, о горе, о страхе смерти, о милосердии, о постижении нелегкой науки добра...»

Повесть **«Разрыв-трава»** (1986 г.) – семейно-бытовая драма. «Никто не виноват, и все виноваты. Отец и мать, и мачеха, и жизнь, которую не так складывают люди...» (из рецензии писателя В. Амлинского).

Рассказ **«Сердечная привязанность»** (1990 г.) – о страдании, о женской доле, об испытаниях судьбы и еще о вере, о Божием храме.

Эссе **«Семейный альбом»** – первое название **«Бароны»** (1994—95 гг.) – как бы продолжает тему эссе Юрия Пиляра **«Пояснения к анкете»** и дает более полную и широкую картину родословного древа, семейной генеалогии. Такая возможность у Ирины Пиляр появилась в результате открытия новых архивных данных как в нашем отечестве, так и за рубежом. На родословном древе засияли имена фельдмаршала Голенищева-Кутузова, графа Орлова, князя

Кудашева, Столыпина, князя Воронцова-графа Шувалова... Список можно продолжить. Сокращенный вариант этого эссе под названием «Бароны» печатался в газете «Дворянский вестник» при Российском Дворянском Собрании.

Не всегда, далеко не всегда, сбываются мечты. Юрий Пилляр долгие годы ждал переиздания известного романа «Люди остаются людьми», переведенного на многие европейские языки и причисленного к лучшим военным произведениям своего времени. Не дождался. Мечтал писатель и об издании двух- или трехтомника своих произведений к 70-летнему юбилею, который состоялся бы в 1994 году. Жизнь оборвалась в шестьдесят два года, юбилейных томов не было и помертно.

Сейчас в моде другие книги. Книжные магазины изобилуют детективами, приключенческой литературой и любовной романистикой. Поэтому можно понять издателей, которые избегают брать в производство рукописи серьезного, так называемого не популярного содержания.

Тем не менее, мы осмелились предложить к изданию сборник **«Семейный альбом. Трепетное мгновение»**, вложив в производство книги собранные по крохам собственные средства. И нас не оставляет надежда, что книга найдет своего читателя, свою среду обитания. И еще. Сбудется, даст Бог, хотя и с опозданием, мечта писателя об издании совместной, его и дочери, художественной книги...

*Ирина Пилляр*

# Часть первая

## Юрий Пиляр

### Вор-воробей

*Мальчик на ножки ступает, Ума-разума  
пытает... Вор-воробышек летит – То мальчоночка  
шалит.*

*Северная игровая песня*

### Моя семья

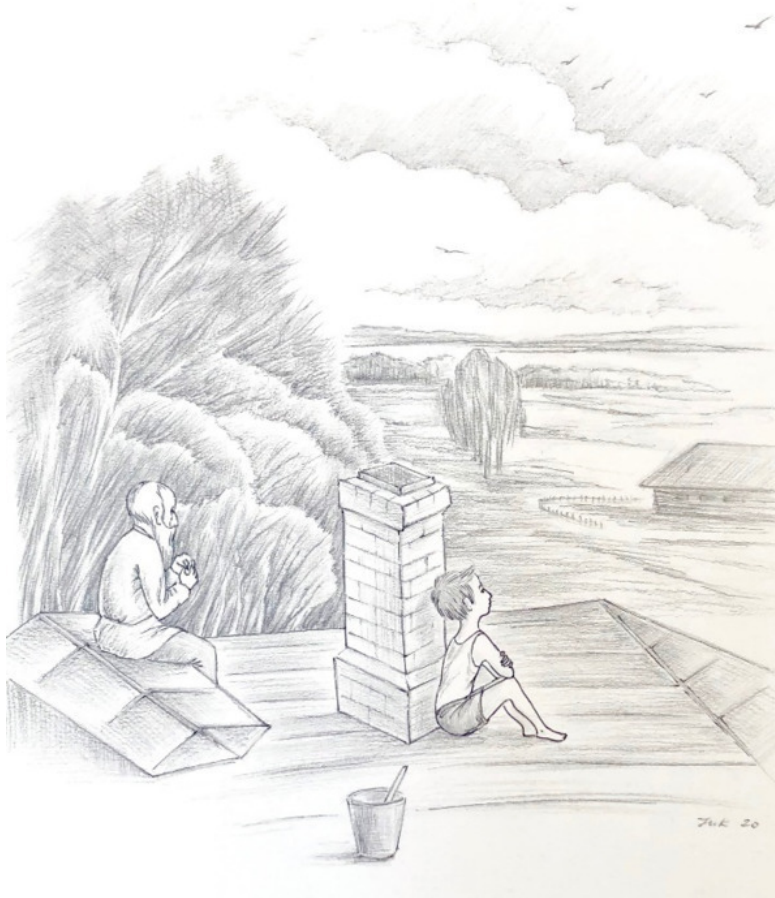
Мой папа учитель и агроном. Мы живём в школе на втором этаже, здесь живут и другие учителя со своими семьями. На первом этаже классы – пятый, шестой и седьмой, кабинеты, папина комната-лаборатория, физкультурный зал, ну, а на втором, как я уже сказал, живут.

Наша школа называется ШКМ – школа крестьянской молодёжи. Она стоит на краю большого села Троицко-Енальское, у широкой дороги. Мы сюда приехали из города Великого Устюга несколько лет тому назад, но я плохо помню, как переезжали: был ещё мал.

Теперь я уже умею читать, а писать – только печатными

буквами. Однажды сестра написала в тетрадке слово ЮРА, я перерисовал его и выучился, потом разучил слова ПАПА, МАМА, а потом научился писать остальное. Мама это объясняет тем, что у меня способности. Я, правда, люблю рисовать. Я как-то разрисовал карандашом дверцу папиного бюро – нарисовал корабли; мама хотела их соскоблить ножом, а меня поставить в угол, но папа заступился: он решил сохранить мои корабли на память.

Я хочу стать моряком. Мы получаем журналы «Красный следопыт», «Прожектор», «Вокруг света», и я подолгу рассматриваю картинки, на которых изображены корабли. Море такое красивое, я часто люблюсь им в одной толстой книге – Брема. Там на цветном листке, загороженном тонюсенькой папиросной бумагой, нарисован берег моря, голубого-голубого, и ягуар. Этого ягуара и узкую полоску моря я вижу иногда даже во сне.



7чк 20

У меня две сестры. Вообще-то их, сестёр, больше, но те не с нами, они замужем. А эти должны присматривать

за мной, Ксения и Ира. Ксения на два года старше меня, она весной перешла во второй класс и ещё играет в куклы, а Ира закончила ШКМ и теперь учительница физкультуры. Они только расстраивают маму, что плохо за мной присматривают: им некогда.

У нашей мамы большое сердце. Когда она лежит, нам по хозяйству помогает Дуня. А когда мама здорова, она копается на огороде или возится на кухне – стряпает, стирает бельё, чинит папины рубашки, – или же разговаривает с женщинами, которые приходят к ней посоветоваться.

Вот пока и всё о нашей семье. Потом я буду ещё кое-что рассказывать о папе, маме и сёстрах, а сейчас только скажу, что они всегда заняты и им не до меня, а мне это и на руку.

## **Страшный сон**

Сегодня мне приснились ведьмы. Сперва собака, которая живёт недалеко от почты, а потом ведьмы. Я будто поднимаюсь по лестнице домой, а она лежит поперёк на ступеньке и смотрит на меня жалостно. Словно хочет что-то сказать или не пустить. Ну, я взмахнул руками и перелетел через неё – во сне это получается, – а когда встал на ноги и оглянулся, собака исчезла. И тут я заметил, что в коридоре темно, а в углу возле нашей двери кто-то притаился. Я сразу понял, кто это. Ведьмы же всегда в углу прячутся, подкарауливают. Я – обратно, а ещё одна ведьма из-под лестницы

выскочила, расставила руки и пальцами скрюченными шевелит. Я в другой конец коридора, и они за мной. Я по чёрной лестнице вниз, и они тоже. Я опять взмахнул, перелетел через их головы, а они раскрыли рты и нехорошо смеются. И будто бы я уже не в коридоре, а в папином кабинете, а сам папа в соседней комнате сидит на стуле, лицо у него печальное и какое-то больное, он смотрит в открытую дверь и будто не видит меня. Я думаю, почему же он не видит – так обидно! – хочу позвать его, а ведьмы уже тут как тут, захлопнули дверь и опять – ко мне. Я от них и выпрыгнул в окно, прямо со второго этажа. Я понимал, что это сон, поэтому и выпрыгнул. И не разбился, а только проснулся.

Это ещё хорошо, что так проснулся. Бывает, что просыпаясь не по-настоящему: тебе лишь кажется, что проснулся, а на самом деле продолжаешь спать. Со мной несколько раз было так: я вдруг как будто просыпаюсь, как будто вижу себя в папином кабинете, где я сплю, вижу как будто даже солнце в окне, но когда встаю – никого в комнате нет, и на улице никого нет, и солнце вдруг начинает меркнуть, и я уже догадываюсь, что сон не кончился, и что ведьмы где-то поблизости и вот-вот снова погонятся за мной. Такие двойные сны я особенно не люблю.

Вот и сейчас – я проснулся и не совсем уверен, проснулся ли. Во-первых, тихо, не слышно ничьих шагов и голосов. Во-вторых, в окне солнце. Всё подозрительно смахивает на тот сон, который я особенно не люблю. Надо попробо-

вать надеть тапочки и стрелой промчатся в уборную, а потом опять залезть под одеяло. Это самое лучшее, чтобы избавиться от ведьм: после этого ведьмы обычно не снятся. А вдруг мне только покажется, что я туда промчусь, а на самом деле это произойдёт не там, а на папиной кушетке, во сне?

Нет, пробовать не буду. Я и так чувствую, что проснулся. Тишина в комнате – это потому, что папа на своём опытном участке поливает огурцы, или подщипывает томаты, или что-то колдует над земляной грушей – прививает или скрещивает; мама на нашем огороде окучивает картошку, да и Ксения с ней, наверно. А Ира, конечно, ушла в сельсовет или в избу-читальню по общественным делам – она всегда пропадает по общественным делам.

Солнце – самое настоящее. Оно ещё невысокое, смотрит в комнату сквозь тонкие ветки берёз. И совсем не меркнет. Значит, я проснулся не как будто, а точно. Здравствуй, день!

На кухне меня ждёт большая кружка парного молока и ломоть ржаного хлеба. Молоко я выпиваю залпом, хлеб, посолив, сую в карман. Затем ополаскиваюсь под ручкомойником, проверяю почтовый ящик на двери – он пока пустой – и по чёрной лестнице схожу на крыльцо.

Здесь, пригревшись на солнышке, дремлет кот Васька. Я котов не люблю. Во-первых, он притворяется, что дремлет, а сам все видит и слышит, а во-вторых, они орут на чердаках. Его можно было бы щелкнуть в нос или дернуть за ус,

но я этого не делаю – ленюсь. Я вообще лентяй. Это даже папа признает, что я лентяй. Интересно все-таки, почему папа был такой печальный и не увидел меня? Надо обязательно его об этом спросить.

Я спрыгиваю на дорожку и иду не спеша. Со стороны хлебов тянет разогретым сухим навозцем, снизу из тени остро пахнут лопухи. Мне гораздо больше нравится, когда пахнет черёмуха, липа, даже берёза. А всего лучше – мамины духи в синем флакончике. Я на маму не обижаюсь, хотя она первая и придумала, что я лентяй. Я не лентяй, а просто не люблю делать того, что не хочется.

Сейчас я пойду на почту и принесу наши газеты. Мне неохота идти на почту – из-за собаки, но я всё-таки пойду. Мне нравится, когда папа доволен. Почтальон всегда опаздывает с газетами, а папа любит читать их, когда приходит обедать. И потом, мне хочется посмотреть на заведующего почтой и на плакат, который там висит. Хоть я и боюсь собаки.

Я иду сперва по песчаной дорожке, затем сворачиваю на широкую дорогу. Небо высокое-высокое и голубое. За косой изгородью тянутся поля, шуршащие, жёлтые, с птичьими гнёздами и васильками. А за полями – кудрявый лес, такой неровный зелёный поясок; он зелёный только днём, а рано утром – синеватый, а вечерами – чёрный, иногда немножко сиреневый. От поля волнами идёт сухой тёплый дух.

Я перепрыгиваю канаву, прикладываю ухо к телеграфно-

му столбу и закрываю глаза. Я это очень люблю: там что-то таинственно гудит внутри. Мне представляются какие-то дальние страны, какие-то загорелые матросы, и я сам среди них. Я могу стоять так долго-долго и всё воображать. Но сейчас мне надо на почту.

Пыль на дороге мягкая и тёплая. Она забивается между пальцев и щекочет. Я иду нарочно посреди дороги. Пусть собака думает, что я её не боюсь.

Слева кузница, справа скотный двор и силосная яма. В кузнице весело постукивают и позванивают: стук-звон, стук-звон. А из ямы вкусно пахнет прошлогодним силосом – так бы и поел! Или хорошо зайти в кузницу и покачать за длинную палку мех. Они там, в темноте, как колдуны. Но мне сейчас не до них. Надо вовремя принести газеты и посмотреть на заведующего и на плакат.

У этого заведующего пышные усы, бурый лоб и короткие волосы ёжиком, и он замечательно говорит слово ДЭПЕША. Это он так говорит, как до революции. Раньше говорили ДЭ-ПЕША, а теперь телеграмма, мне это папа объяснил. Он, заведующий, похож на вредителя. Мне немножко жутко, когда я смотрю на него. А на плакате – весь красный, вернее, оранжевый рабочий вытянул руку и показывает пальцем. И никуда от него не спрячешься. Куда ни встанешь – всё равно глядит на тебя круглыми глазами и показывает пальцем. Он и на заведующего показывает, и тому, наверно, ещё жутче, потому что заведующий похож на вредителя...

Собака уже поджидает меня. Растянувшись в тенёчке возле высокого тесового крыльца, высунула язык и следит за мной – ждёт, когда я с ней поравняюсь. Я чувствую, как начинает колотиться моё сердце.

Я не должен подавать виду, что боюсь её. Я тебя не боюсь, собака, ты только не вставай. Я не смотрю на неё. Не надо обращать внимания. Надо идти спокойно и прямо, но у меня подгибаются ноги. Теперь она обязательно придерётся.

Я иду почти не дыша. И я слышу, как она, проклятая, вскакивает и топает, перебирая лапами, по сухой тропе. Я на неё не гляжу, не обращаю внимания, а она всё равно приближается.

Не надо, собака, пожалуйста, не надо!..

И я чувствую, как сзади на мои плечи наваливаются две прохладные мохнатые лапы. Я делаю вид, что ничего не случилось, и продолжаю идти. Я не обращаю внимания, хотя всё во мне холодеет. Мне хочется закрыть глаза и очутиться во сне. И у меня пересыхает во рту.

А она шагает, опираясь на мои плечи, и часто, шумно дышит мне в затылок. Господи, миленький, заступись ты за меня!

Внезапно я ощущаю толчок, чуть не ныряю носом, и – какая радость, какое облегчение! – её лап на моих плечах больше нет. Помоги и помилуй, помоги и помилуй!

Теперь я слышу позади себя только мягкие её шаги. Она идёт за мной следом. А вдруг ей что-нибудь ещё вздумается?

Помоги и помилуй! Но вот шаги затихают. Наверно, остановилась. А может быть, хитрит? Ждёт, что я оглянусь?

Но собака в самом деле отстаёт и тут же исчезает куда-то. Как во сне.

Я поглубже вздыхаю и бегом к крыльцу почты.

Пожилая тётенька-служашая с растрёпанными волосами молча протягивает мне газеты, и мне как-то подозрительно: а вдруг она сейчас превратится в ведьму? И всё на почте сегодня как-то подозрительно: заведующего с усами не видно, молоточком по письмам никто не постукивает, и плакат с оранжевым рабочим висит как будто не с той стороны. Что-то всё не такое, не настоящее...

Когда я уже другой дорогой возвращаюсь домой, я думаю: может, я ещё не совсем проснулся? Мне хочется побыстрее к папе, чтобы он мне всё объяснил – и про тот сон, как он был печальный и не увидел меня, и про сейчас, – я заворачиваю за школьный сарай, спешу на опытный участок, но там папы нет. Я бегу домой, и дома его нет. И мамы нет. Одна лишь Ксенька под окном в тени играет со своей подружкой Любой Кораблёвой в куклы. Я сверху крикнул Ксеньке, спросил её, а она мне только ответила, что мама велела никуда не уходить, потому что скоро будем обедать; а папа, сказала Ксенька, наверно, пошёл в кооператив узнавать, привезли ли удобрения. А какой дорогой пошёл – через лесок или мимо кузницы, – она не знает.

Вот она всегда такая: ничего не знает! Ксенька-то, я вижу,

самая настоящая – толстоногая, с голубым бантом на голове, – и мне сразу стало полегче.

## Сергеа

Я ещё немножко покрутился у окна, пока не пришла мама, а потом потихоньку улизнул. Я знаю, что делать что-нибудь потихоньку некрасиво, но всё же иногда делаю. Я не люблю обедать, когда жарко. Мама будет заставлять есть горячий суп – вот я и улизнул. Я тоже решил пойти в кооператив.

Жарища такая, как в бане. Трава, цветы, можжевельник – всё разомлело на солнце и пахнет. Пчёлы уткнулись в мохнатые лиловые цветы и дремлют, выставив задки. У них там на самом кончике – чёрный блестящий коготок. Они им тоже жалят. Чтобы никто не смел брать мёд, который спрятан в их животе в светлом круглом мешочке. Я на обратном пути обязательно поохочусь на пчёл, выну из них мешочки и угощу маму мёдом. Чтобы она не очень сердилась.

Я иду по лесной поляне. На голове тубетейка, голову мне не печёт. Эта дорога через лесок хороша тем, что здесь никто не подстерегает меня и не мешает воображать. Собственно, дороги нет, это я так просто говорю себе, что дорога, – я тут много раз ходил и запомнил, где поляна, где яма с крапивой, где надо свернуть в поле и идти по тропинке через рожь. Интересно, что, когда я что-нибудь воображаю и после рассказываю про это дома, папа улыбается сквозь очки и назы-

вает меня фантазёром, а Ксенька – вруном. Она всё время называет меня вруном.

Во ржи меня не видно, я скрываюсь в ней с головой. Она сухая и жёсткая и дышит зноем – рожь мне не очень нравится. И ячмень не очень – из-за колючих усиков, загнутых кверху. А овёс нравится. Когда овёс ещё недоспел, его можно набрать в ладонь и пожевать. Из него вытекает сладкое молоко. Им питаются медведи.

Во ржи медведей не бывает. Тут только жаворонки – как вылетят внезапно и, быстро хлопая крыльями, скроются. И опять тишина. И громадное солнце. И васильки стоят на ножке, синие и фиолетовые звёздочки...

Поле обрывается, и я выхожу на деревянные мостки, которые протянулись от больницы до церкви. Отсюда рукой подать до кооператива. О нашей церкви я ещё расскажу. Ужас! А теперь через площадь, через зелёный бугорок, через широкую горячую дорогу прямо в просторный двухэтажный дом, в открытую дверь.

Внутри темновато, не жарко и столько разных приятных запахов! Я из-за запахов сюда и хожу. И из-за того, что тут в самую жару не жарко. И ещё из-за одного хромоногого парня Серёги, который околачивается тут целыми днями.

Пахнет, во-первых, пряниками и керосином. Во-вторых, рогожей, деревянными ящиками и водкой. Немножко пахнет табаком от папирос. Я люблю, когда много запахов, – тогда я тоже что-нибудь воображаю и мне что-то представляется.

На меня смотрит продавец. Он возвышается над прилавком, как колокольня. Он строгий, и с ним трудно разговаривать. Я снимаю на всякий случай тубетейку.

– Что, мамку потерял? – сверху спрашивает он толстым голосом.

Он серый и очень чужой.

– Папу, – отвечаю я снизу.

У продавца большой рот, большой нос, и он весь какой-то жёсткий.

– Папы твоего тут не было. Может, в правлении?.. А ты чего всё носом водишь?

– Я пряников хочу, – признаюсь я.

Голова продавца склоняется над прилавком. Большой рот кажется ещё больше.

– Деньги-то есть?

– Нету.

Продавец вновь выпрямляется и делается неподвижным. И равнодушно молчит.

– Я деньги после могу принести. Сколько надо? – говорю я.

– После нельзя.

– А почему нельзя?

– Потому что нельзя. Амба!

Вот и поразговаривай с ним. Амба, и всё. Это слово надо обязательно запомнить – «амба»!..

Не удастся мне поестъ пряничка. Так жалко! Пока я

не сказал ему, мне и не хотелось, а теперь так захотелось, что только о них и думаю. И запах только один слышу – медовый, очень сытный. И они стоят перед моими глазами, хоть я и не вижу их за высоким прилавком, – круглые, твёрдые, с застывшей белой корочкой. Я глотаю слюну.

– Сходи попроси у мамы две копейки, – говорит голос сверху.

– Сейчас, – отвечаю я и бросаюсь к двери.

В дверях чуть не налетаю на того самого Серёгу. Я его чуть не сбиваю с ног – у него одна нога покороче и слабая, и ему неудобно ходить. Он меня отталкивает, и я бочком проскакиваю мимо него на улицу.

А на улице, на солнышке, я сразу понимаю – никаких мне двух копеек не будет. И пряников, значит, не будет. Я улизнул от обеда – какие уж тут две копейки! Даже если я добуду маме мёда из пчёл, всё равно не будет.

Я вытаскиваю из кармана ломоть хлеба, который остался у меня от завтрака, сажусь на опрокинутый ящик в тени и ем. Серёга уже выходит раскачиваясь. У него большущая кепка со сломанным козырьком, одна щека оттопырилась – там заложен кусок сахара, я знаю. Сейчас он будет закуривать.

Серёга правда закуривает папиросу, соскакивает на одной ноге с низкого крылечка и поворачивается ко мне.

Он глядит на меня, а я на него. Я гляжу, как он сосёт сахар и курит. Я ему чуть-чуть завидую – из-за сахара. Я тоже мог бы сосать сахар и есть хлеб. Получилось бы, как будто

я ем пряник.

– Чего вылупился? – угрюмо спрашивает Серёга.

Он всегда угрюмый. Я однажды видел, как он курил сразу две папиросы. Сунул их в уголки рта и дымит. И сурово сме-трит по сторонам – не смеются ли?

– Ты зачем тогда голубяам глаза вытыкал и с церкви бросал? – говорю я.

– А мне ндравится, – мрачно хрипит Серёга. – А те какое дело?

А сам сосёт сахар и дымит.

Я прячу хлебную корку в карман – после доем, – слезаю с ящика и отхожу шагов на десять. С Серёгой лучше разговаривать издали.

– Ты живодёр, – говорю я.

– Чего? – грозно произносит Серёга и немного оседает на кривую ногу, изготавлиаясь к прыжку.

– Живодёр, – повторяю я.

Тут я потихоньку пячусь, потому что Серёга резко сдвигает брови.

Хотя догнать меня он всё равно не сможет.

Но Серёга вдруг перестаёт хмуриться и подтягивает слабую ногу. Папиросу вынимает изо рта. И даже будто улыба-ется.

– Хошь, на пряник дам? – почти уже ласково спрашивает он.

– Мне отец даст.

– Когда те он ещё даст, а я – вот! – И Серёга, улыбаясь, показывает медную денежку, на которую можно купить пряник, а то и два.

Пока я размышляю, как быть, Серёга неожиданно в два маха подскакивает ко мне и больно хватает за плечо.

– Попался! – злорадно смеётся он. – Я те сейчас покажу живодёра, я тя, шкет, зелёная труба, сейчас тоже сброшу с колокольни.

– Эй! – кричит кто-то. – А ну, пусти парня!

– Сейчас, дяденька, пущу, – ухмыляется Серёга и тащит меня, ухватив за ухо, к церкви.

– Пусти, живодёр, подкулачник! – чуть не плачу я, с ужасом представляя себе, как Серёга будет сбрасывать меня с колокольни.

Серёга даёт мне подзатыльник, и тут – тут вновь происходит чудо.

Чья-то длинная рука цепляет Серёгу за шиворот и встряхивает. Жёсткие Серёгины пальцы отпускают моё горящее ухо. Серёга бормочет ругательства, а продавец из кооператива, ворочая головой, сердито отчитывает его.

– Подыми головной убор, – тоже сердито говорит мне продавец, и, когда я поднимаю сбитую Серёгой тюбетейку, он берёт меня за руку и ведёт в открытую дверь.

Скажите – не чудо! И даже бесплатно пряник даёт. Я после ему, конечно, отдам две копейки за пряник, хотя он мне больше ничего и не говорит про деньги.

Я снова выхожу из кооператива. Серёги не видно. Ну и ладно. Сегодня я уже нагляделся на него. Я его не боюсь, хоть ему уже пятнадцатый год. Я от него всегда могу убежать.

На улице всё ещё как в бане: жарко, душно. Даже куры с петухами попрятались. Я бы пошёл на Кубену купаться, но, во-первых, надо идти мимо кладбища, а во-вторых, я обещал папе не ходить без него на Кубену. Куда бы мне ещё пойти, где прохладно или хоть не так жарко?

Я думаю об этом и вдруг вижу, что из дома Тимачёвых выходят с ружьём. Два знакомых дяденьки из сельсовета и один незнакомый, в военной форме. Я военных люблю. Я забываю про жару и бегу поглядеть на военного. И на ружьё, которое держит, посмеиваясь, председатель из сельсовета.

Они, посмеиваясь, останавливаются около деревянной трибуны, где Первого мая висели плакаты и говорили речи. Я тоже останавливаюсь недалеко от трибуны. У военного дяденьки на поясе кобура с наганом. Вот бы он стрельнул из него! Я больше не могу оторвать от него глаз. Сапоги у дяденьки чистые, как зеркало, на воротнике малиновые полоски, жёлтые пуговицы горят, ремень немножко поскрипывает, когда он поворачивается. Голова у него бритая, розовая, и он тоже посмеивается негромко. До чего же красивый!

Председатель из сельсовета, что-то сказав ему, кладёт ружьё на уголок трибуны и целится. Он наводит дуло на колокольню, где сидят галки. Вот здорово! Сейчас как бабахнет! Я от волнения присаживаюсь на корточки.

Вдруг ружьё как ударит с грохотом – это оно выстрелило. Жутко! И запах сразу пошёл, незнакомый, холодноватый какой-то. И что-то чёрненькое полетело вниз со второго окошка колокольни, где сидели галки. А остальные с гомоном взвились и заполошились вокруг, затолклись.

– Точненко! – радуется председатель и поворачивает к военному смеющееся малиновое лицо. – Теперь ваш черёд!

А военный больше не посмеивается, а чего-то морщится. И показывает на свою руку – она у него, наверно, болит. Но всё-таки подходит к ружью и прикладывается. А галки-дуры, покричав, опять рассаживаются в ряд – пожалуйста, бей любую!

Я гляжу на военного дяденьку не отрываясь. И всё вижу: как он опять морщится, как поддевает под локоть ремешок от ружья, как целится, прикрывая глаз.

И я опять присаживаюсь на корточки и замираю. Но военный не спешит.

– Ну, Агапыч! – говорит весёлый председатель. – По мировой гидре... Пли!

Но военный дяденька поднимает голову, а потом и вовсе снимает ремешок с локтя.

– Не могу, адская боль...

– Тогда проиграл, – смеётся председатель, – всё одно проиграл, товарищ начальник!

Конечно, проиграл. Мне так обидно, что он не стрельнул, хотя и жалко галок. И мне кажется, что никакая рука у него

не болит, а просто боялся промазать. Я весь изождался, пока он стрельнёт.

И они делаются неинтересными мне. Пусть уходят дообедывать. Я пойду на убитую галку посмотрю.

Галка вся разбита и в крови. Даже перья валяются. А глазок неживой смотрит. Не успел закрыться.

Неожиданно я вижу Серёгу, который сидит в тени, прислонясь спиной к ограде. Что это он – плачет? У него под глазами розовые ободки.

Я не люблю, когда люди плачут. Даже если это живодёр Серёга.

– Тебе галку жаль, Серёга?

– Уйди, зелёная труба, – отвечает он.

А может, он и не плакал?

– Ты плакал, Серёга?

– Галифешники! Зимогоры! – зло бормочет Серёга и плюёт, стараясь достать меня.

– А он галку пожалел, а ты голубей не жалел, – говорю я, отодвинувшись. – Он не стрельнул потому, что зачем ему это, а тебе убивать голубей «нравится».

Серёга хватает камень, но я проворнее: уже отскочил.

– Вы богатели, а бедняки беднели, – продолжаю я. – А теперь этого нет, вот ты и злишься...

Я догадываюсь, почему он плакал. Он из-за меня плакал. Из-за того, что продавец не дал ему сбросить меня с колокольни. Он же убогий, и его никто раньше не цеплял за ши-

ворот и не тряс. Вот он и заплакал. Или, может, своего отца вспомнил, как его в милицию забирали за то, что он мешал богачей Тимачёвых раскулачивать?

И мне опять делается жаль Серёгу: он ведь теперь всё равно что сирота.

– Сын за отца не ответчик, – примирительно говорю я. Это я вспомнил папины слова, когда он спорил с Ирой.

И снова я отскакиваю в сторону – камень, кинутый Серёгой, падает на середину дороги, в пыль.

– А почему я зелёная труба? – Я уже давно хотел спросить его об этом.

Но Серёга больше не отвечает. Он, наклонившись, вытаскивает из штанов папиросы. Интересно бы узнать – зачем он всё курит? Ладно, я лучше пойду к больнице, там около реки не так жарко. И, отвернувшись от Серёги, я снова иду через пыльную дорогу, мимо церкви к деревянным мосткам, белеющим посреди ржаного поля.

## На Кубене

Теперь надо рассказать сперва про церковь и утопленника, а потом – что было дальше.

Я ведь на колокольне бывал, но об этом почти никто не знает. Когда стоишь там наверху и смотришь вниз, то кажется, будто колокольня чуточку качается и вот-вот упадёт, или железная решётка выломится, или меня ветром сдует, –

всегда что-нибудь такое кажется, отчего делается немножко щекотно.

Я это люблю, то есть люблю, когда немножко щекотно и когда кругом всё видно: поля, деревни, река Кубена – она блестит на солнышке и извивается в берегах, и всё наше Троицко-Енальское, и люди, у которых как будто нет туловища, а одни головы с ногами, и очень длинные дороги, и всё так чисто и прибрано на земле.

И дует ветерок со всех сторон. А над головой громадина колокол, как баба в дублёной шубе, а сбоку под перекладной, как ребята на лавке, другие колокола мал мала меньше. И галки кричат и летают туда-сюда – беспокоятся. Я на колокольню три раза лазил.

Я прошлый год, когда церковь была ещё открыта, и внутрь заходил. Жуть! Внизу темно, стоят люди, а сверху дым, и по бокам жёлтенькие огни свечек, что-то поблёскивает, и голову она так печально наклонила и ребёночка держит, и в темноте красиво поют. А посреди стоит поп-батюшка и быстро говорит басом. Скажет быстро что-то непонятное и запоёт, а позади из темноты подхватят и тянут в несколько голосов. А старики со старушками в темноте торопливо крестятся и что-то шепчут. Очень таинственно, и мне нравилось.

Я только не любил, когда он размахивал плоской с огнём. Я тогда всегда уходил из церкви. У него на длинной цепочке в руке была плоска, и в ней что-то горело, и от неё шёл дым,

а он махал ею и медленно двигался к двери.

Я его всегда опережал и выбегал на улицу. Мне это не нравилось... с огнём.

И батюшки-попы мне не очень нравились. Я их боялся. Когда, бывало, увижу – идут по улице, убегаю или спрячусь. Я их глаз боялся и длинной одежды. У нас их было два: поп рыжий и поп чёрный. Они были очень здоровые, с пышными кудрями до плеч.

И оба надорвались на пасху. Они выпили водки и стали друг друга поднимать. Я сам этого не видел, но очень хорошо себе представляю. Встали живот к животу, обхватились и давай по очереди друг дружку подбрасывать. И надорвались. А когда их увезли в больницу, рыжий поп вскоре умер, и церковь закрыли.

Мне чуть-чуть жалко, что закрыли. Я не верю в бога, у нас дома никто не верит, а всё же чуть-чуть жалко. Ира, та очень радовалась, а я не очень, потому что нигде больше так не поют.

Когда ещё церковь была открыта, все комсомольцы вместе с Ирой собирались на площади и кричали хором: «Долой, долой монахов! Долой, долой попов! Залезем мы на небо, разгоним всех богов». Богомольные старушки на Иру плевались, а она смеялась. Она у нас бедовая.

Они на Иру и из-за утопленника плевались. Они говорили, что нельзя его в ограде хоронить, раз он сам на себя руки наложил, это не по закону, а Ира говорила – можно, говори-

ла, что церковный закон – это не закон. А его молоденькая жена плакала и всем объясняла, что он не утопился, а был пьяный, потому и утонул. Ну, пока они спорили, я быстро сбегал в больницу и посмотрел на него.

Утопленник, голый, серый, лежал на лавке в избушке для мертвецов. Дверь была заперта на замок, а окошко полое. Я сунул в окошко голову и всё рассмотрел. Там под лавками стояли шайки со льдом, и было прохладно. У него только живот немного надулся, а так – обыкновенный покойник. И я был так рад, что Ира победила и его похоронили в ограде, то есть на самом кладбище. Что он, не человек, что ли?..

Сейчас я как раз мимо этой больничной избушки прохожу, где он лежал.

Избушка сухая, чёрная, под окном выросла крапива, и оно закрыто. Наверно, нет никого внутри... Тогда я посижу около неё в тени, а потом пойду на Кубену напиться. Я дорогой съел пряник, и теперь что-то пить захотелось.

Или лучше сразу пойду напьюсь. Купаться-то всё равно не буду, нечего беспокоиться. Кому охота стать утопленником?

Я спускаюсь по тропе меж старых лип к калитке, открываю её и ложусь на мосточек, на тёплые доски, животом вниз. Я зачерпываю воду ладошкой и пью. Вот и всё.

Я люблю глядеть в воду. На дне жёлтый песок в морщинках, а сверху она льётся-переливается. Как она вся не выльется? То рыбёшка подплывёт, уставится удивлённо чёр-

леньким глазом, потом, быстро вильнув тельцем, исчезнет. То водяной паук на дрожащих лапах куда-то прошагает; то вдруг стрекоза с налёта коснётся прозрачным крылышком воды и вспорхнёт, испуганная.

И опять она льётся-переливается, и морщинки на песке чуть шевелятся. Тут уснуть можно на досках.

А на том берегу бабы сгребают сено. Чуть подальше мечут стога. Ловко, споро – раз, раз – просохшую траву кладут в ряд, в такой валик, потом встают поперёк и – раз, раз – забирают на грабли душистые тёплые вороха и несут в копны. А на замётанном стогу стоит мужик с вилами и принимает свежее сено, раскладывает налево и направо, утаптывает, вилы его с длинными белыми зубьями играют солнечными зайчиками.

Запах лёгкий, чистый доносится даже через реку. И лошадь там ходит, подтаскивая копны на волокушах. И девки бабы слышно, как смеются и громко, живо разговаривают. Они не девки и не бабы – это неправильно, надо говори «деушки» и «женщины». Но они сами себя называют так «бабы», «девки». Не могут отвыкнуть.

Мне, пожалуй, пора к дому. Я бы сейчас даже супу поел – так есть хочется!

Я бы выкупался перед тем как идти, но я дал папе слово. Если бы не дал, то обязательно выкупался бы. Тут мелко. Можно только разок окунуться и вылезти – это не будет считаться, что выкупался.

Я снимаю штаны, стягиваю майку – тубетейка моя, перекувырнувшись, летит в реку. И сразу же на том берегу – откуда они взялись? – загалдели ребята:

– Камилавку, камилавку!.. Агрономов парнёк камилавку обронил!

Я бултыхаюсь в воду – она мне здесь до подмышек, – тубетейка, покачнувшись на волне, отплыла подальше. Я за ней, а ребята с того берега тоже попрыгали в воду и кричат:

– Лови, а то в омут снесет. Держи ее!

Я еще шаг за ней, и мне уже до подбородка. И страшно-вато делается – из-за омута. А ребята уже выбрались на мель и бегут по песку наперерез.

– Стой! – кричат. – Не ходи, потонешь!

Я на цыпочки привстал, весь вытянулся – всё равно не хватает руки, не достаю.

А ребята, пробежав мель, снова в воду и плывут ко мне наискосок, глаза выпучили, руками хлопают – кто первый поймает тубетейку. Один и схватил её, самый длинный, и встал около меня.

– Эва, – говорит и напялил её, мокрую, себе на голову.

И все встали полукругом и засмеялись. Я отступил на шаг, где помельче, и тоже засмеялся. Парень-то рыжий, нос облупленный, волосы мокрые торчат, а на макушке – моя тубетейка.

– Ладно, – говорю, – спасибо, давай её.

– За спасибо-то не отдам, – смеётся рыжий. – Выкупи!

Они все вылезли на мосток и расселись, свесив ноги. И рыжий тоже. Я сел рядом с ним.

– А что ты хочешь за неё? – спрашиваю.

– Томата, – отвечает он, скаля зубы, – или сахарного гороху, можно кабачок.

– Так это же всё у папы, – говорю я. – Может, другое что-нибудь?

– Топинамбур, тыква, севооборот, – смеётся рыжий.

И остальные посмеиваются негромко, вроде бы стесняясь, и переглядываются.

А рыжий говорит:

– Я твоему папаше на уроках всегда на«очхор» отвечаю. На! – и пересаживает тюбетейку со своей головы на мою.

И все опять зачем-то засмеялись и стали соскакивать в воду. А я выжал тюбетейку, надел штаны и помахал ребятам на прощание.

## Заблудился

Отворив калитку, я снова поднимаюсь по тропе в больничный сад. Он большой, тенистый, весь зарос тополями и старыми липами. Дома красивые – розовые. Это палаты. А два дома коричневые, с красными торцами брёвен. И везде проложены деревянные мостки, такие дощатые дорожки. Пожалуйста, иди, не спотыкнёшься.

Больничных запахов я не люблю. Я поскорее пробегаю

мимо палат. По дорожке навстречу мне идёт новый доктор. Раньше у нас была женщина-доктор, добрая. А новый доктор не такой. У него не такая голова – голая и как будто двойная. Она очень поперёк длинная. И под носом пучок усов. Я его немного боюсь: а вдруг он у меня что-нибудь спросит?

Я пробегаю мимо, опустив глаза. Он меня ничего не спрашивает. Я оборачиваюсь и ещё раз гляжу на его длинную ото лба к затылку голову.

Потом я влезаю на забор – крупные пахучие листья липы щекочут моё лицо – и спрыгиваю на другую сторону в рожь. Сейчас я найду какую-нибудь тропинку и пойду на зелёную крышу. Она чуть виднеется вдали за полем и кустарником, зелёная крыша нашей школы.

Я иду не по самой ржи, а рядом. Я обхожу, наверно, с полполя, и зелёная крыша, став поменьше, отодвигается вбок. Я не люблю возвращаться старой дорогой. Даже это лучше, что нет тропинки. Я леском вернусь домой или, может, выйду к папиному участку.

Тюбетейка моя уже просохла, и солнце опять стало припекать, хоть и опустилось пониже. Пчёлы, которые проснулись, завозились в цветках, зашевелились. А некоторые ещё дремлют, нежатся.

Я ещё успею поохотиться на них. Когда подойду поближе к дому или к участку.

Я лучше леском пойду, тут вроде поменьше солнца. В молодом сосняке очень густо пахнет хвоей, смолой, горячей

землёй. Очень жарко пахнет, просто пышет. Всё замерло, разомлело и неподвижно. И только рыжие муравьи бегут по своей дорожке туда и сюда: одни – туда, другие – сюда. Туда чего-нибудь несут, а обратно бегут пустые.

Один тащит сухую муху за ногу. Уцепил её передними проворными лапками и тащит-пятится. Другой – осколочек от ржаной соломины. Неужели он её с поля приволок? А куда они волокут?

Я иду за ними и скоро нахожу высоченный, в мой рост, муравейник, такую горку, которая вся кишит рыжим и чёрным, вся переливается и блестит. Вот уж и на меня полезли – сейчас согнут чёрные головки, подождут и укусят, я уж знаю. Я их щелчком сбиваю с ноги и отхожу подальше.

Надо вернуться в поле: в лесу ещё жарче. А в какой стороне поле? Надо пойти обратно вдоль той муравьиной дорожки. А сколько же их, этих муравьиных дорожек? И которая из них та?

От муравейника во все стороны, как лучи, протянулись дорожки с муравьями. Вот смех-то: я не знаю, с какой стороны сюда зашёл! Я смотрел вниз на муравьёв, поэтому и не заметил, и не знаю. Вот чепуха-то, как говорит папа.

Я иду сперва в одну сторону – нет, здесь поля не видно. Иду оттуда в другую – опять не то. Тут земляничкой сильно пахнет. Надо для мамы хоть земляники насобирать. Ладно, вот только выберусь, так насобираю и земляники, и мёда добуду из пчёл. Наверно, мама без меня уже скучает, думает:

где Юра?

Ладно, Юра, мы теперь пойдём вот туда – там светится какая-то прогалина. Я иду туда и попадаю на незнакомую лесную поляну со старыми трухлявыми пнями, окружёнными высокой травой. Тут в траве крупная сочная земляника. Я снимаю тюбетейку, раздвигаю траву и – раз, раз – бросаю в тюбетейку самые спелые земляничины. Раз – в рот, раз – в тюбетейку. Только бы нам не заблудиться.

Раз – в тюбетейку, раз – в рот. А почему солнце не печет? Я поднимаю голову – всё небо затянулось серой дымкой. Когда это оно успело? Я, наверно, очень долго смотрел на муравейник.

Раз, раз – в рот, раз – в тюбетейку. Я сейчас вернусь к муравейнику, пройду по всем дорожкам по очереди и найду ту, по которой он тащил соломинку. Я не заблудился.

Я встаю, осматриваюсь и бегу туда, где должен быть муравейник. Но там муравейника уже нет. Я бегу ещё быстрее – может быть, там? И там нет. Я опять бегу, и мне уже хочется заплакать.

Я, наверно, заблудился... Тут низина, папоротник и ели. Я елей не люблю. А с неба уже – кап, кап – на широкие резные листья папоротника упало несколько дождинок. На мою голову – холодненькие. Что же делать? Куда бежать?

Надо бы залезть на ёлку и поглядеть вокруг. Мы с тобой, Юрка, заблудились. Нет, не заблудились. Я этого не хочу: я боюсь лешего. Я лучше побегу, а то хочется заплакать.

Я снова бегу куда-то, и на голову мою и на плечи падает холодненькое. Я боюсь волков и лешего и боюсь совсем заблудиться. Как меня найдут? Что я буду есть и где спать?

А тут уже какое-то болото. Я никогда не видел этого болота. Я бы заревел потихоньку – но кто меня услышит?

Я бегу обратно и думаю про папу и маму. И про Ксеню хорошую думаю. И про Иру. Они стоят печальные и спрашивают: где Юра?

Что же делать? Куда ещё бежать? Куда это меня занесло?

Я останавливаюсь, переводя дух, и вдруг слышу постукивание. Ближе постукивание – как телега едет. Я кидаюсь в ту сторону, продираюсь через кустарник, и вот передо мной дорога, вся рябая от капель дождя. Из низины, где настланы брёвна, постучав ещё, выезжает телега, а на ней бородатый мужик с кнутом. И хотя он незнакомый, и дорога незнакомая, я смеюсь от радости.

– Здравствуйте! – кричу я дяденьке мужику.

– Здравствуй, парнёк! – Дяденька натягивает вожжи, придерживая кобылу. – Чего тут стоишь? Землянки насбирал?

– Я заблудился.

– Заблудился? – недоверчиво тянет дяденька и – тпру! – останавливает кобылу. – А куда же тебе надо?

– В Троицу.

– Дак Троица – вот она! – Он кнутовищем указывает вдоль дороги, и я, удивлённый, вижу поверх ивняка маленький краешек зелёной крыши.

– Спасибо, дяденька, – говорю я, счастливый, – теперь я быстро добегу.

– Садись, подвезу, – предлагает дяденька, показывая жёлтые зубы под усами.

Я забираюсь к нему в телегу, и мы едем. Мы едем мимо мокрых ёлок, осинок, ольх, мимо потемневшей изгороди к нашей школе, где я живу с папой, с мамой и сёстрами. Я очень люблю этого дяденьку, и папу люблю, и маму, и Иру, и Ксеню. И кобылу его люблю, и дождик, и свою тюбетейку, в которой лежит земляника для мамы. Я всё люблю, потому что всё такое хорошее, такое чудо, и я не заблудился!

## Князь Шуйский

Настала осень, начались уроки, а крышу-то и забыли починить. Она ведь только издали зелёная, а когда мы с князем Шуйским поднялись на неё из чердака, она оказалась грязная, с пятнышками ржавчины и отколупывается. Князь Шуйский постучал по ней молотком, так краска на этом листе почти вся и отлетела.

Сейчас он её заново красит. Он сперва соскрёб старую, почистил, помазал чем-то и красит из ведёрка. Получаются как заплаты. Снизу не заметно, что крыша составлена из листов, из железных квадратов. А когда он покрасил первый лист, так и снизу, с земли, стало, наверно, заметно, что из квадратов.

Мне-то отсюда, от трубы, это хорошо видно. Я вначале сидел на чердаке и смотрел на него из слухового окошка, а потом всё-таки выполз к трубе. Тут лучше, хотя и страшновато, что могу слететь. Мне очень нравится смотреть на него поближе и как он красит.

Он водит кистью вверх-вниз и поёт:

Инда красна девица,  
Девица, девица,  
Инда красна девица...

Других слов он, наверно, не знает, а я всё равно слушаю. И всё на него смотрю. Он такой осанистый, добрый, и борода у него добрая, широкая и сивенькая, и глаза, и красноватый нос, и домотканая рубаха, оттопырившаяся сзади над завязкой фартука.

Инда красна девица, —

поёт он, а я его слушаю, и мне ни капельки не надоело, потому что он, князь Шуйский, для меня загадка.

Он очень, очень древний. Ему лет триста. Я вот только не понимаю, как он прожил столько. То есть я, с одной стороны, понимаю, что столько прожить нельзя, но, с другой стороны, в том, что он князь Шуйский, тоже нельзя сомневаться, особенно, когда он мягким своим, таинственным голосом поёт про «красну девицу». И песня эта из тех старин-

ных времён, я знаю. И сам он будто сошёл с картинки из папиной книги о Борисе Годунове, где есть и его, князя Шуйского, портрет. Меня вот только немного смущает, что он из деревни Перепечиха, но мало ли чего с человеком могло случиться за столько лет! Может, он однажды приехал сюда и затерялся в наших лесах, а потом и сам забыл, кто он такой. Мало ли бывает чудес!

Инда красна девица...

– начинаю негромко подпевать и я у трубы, а он сразу повернул ко мне голову. Вот древний, древний, а всё слышит, слух у него острый. И зубы белые, и все целы и даже блестят, будто он их только что почистил порошком.

– Свалиться не боишься? – говорит он мне.

– Я за трубу держусь.

– А ну как тятенька заметит, что к трубе-то вылез, да задаст нам обоим, а?

– Тятенька сейчас на уроке, – отвечаю я, нарочно называя папу по-старинному – тятенькой.

Князь Шуйский прислоняет кисть к ведёрку, которое стоит на деревянном клинышке, вынимает из-под фартука кисет и присаживается на скат крыши, что над слуховым окошком.

Он вначале разворачивает кисет на колене, отрывает от помятой газеты кусочек и приклеивает его к нижней гу-

бе. Затем, запустив одну руку в кисет, другой рукой снимает с губы этот кусочек и сыплет на него махорку. Затем выравнивает её указательным пальцем, подносит край бумажки ко рту, слюнит, покусывает, а потом – круть, и папироска готова. Очень ловко! Он быстро оглаживает её, закупоривает снизу, вставляет другим концом в рот и зажигает спичку, складывая ладони домиком.

Я люблю подробно смотреть, как делают папироски и прикуривают. Так ловко, и потом дым выпускают изо рта и из носа, тремя струйками... Пока он сворачивал, то на меня не глядел и ничего не спрашивал. А как выпустил из себя дым, так сразу посмотрел на меня весёлыми глазами и говорит:

– Как тебя звать?

– Юрий.

– Юрий? Значит, Егорий? А годков от роду сколько?

Я ему сказал и сам спрашиваю:

– А сколько вам?

– А мне, милоч, восемь лет на семей десяток ноне пошло.

Вон сколько!

– А почему вы всё про красну девицу поёте? Это старинная песня? – Я подбираюсь к главному – настоящий он князь Шуйский или нет; сразу спросить как-то неудобно. – Очень старинная, да?

– Очень, дружечка. Её, бывало, ещё батюшка-покойник за работой певал, царствие небесное... – И князь Шуйский

потряс сложенными в щепоть пальцами у груди, переkreстился.

– А в Бога вы веруете? – допытываюсь я.

– А кто же в Него, в Господа нашего, не верует?

– Папа не верует, я не верую.

– Это грех, – говорит Шуйский. – Папа твой хороший, обходительный со всеми, работать любит и, видать, учёный, ничего не скажешь; вон как земляца-то его одаривает – диво!

А не верует...

– Ну и что? – отвечаю я. – Даже в старину не все верили. А некоторые хоть и верили, а мальчика убили... Вы Бориса Годунова помните?

– Кого-кого?..

И мне уже ясно, что не помнит. Ещё бы – так давно это было!

Князь Шуйский вдруг улыбается, и я опять вижу его как порошком вычищенные белые зубы.

– Ты это про кого меня спрашиваешь? Про какого Гладцинова? – Он отчего-то всё веселее улыбается. – Ты-то откель про купца Гладцинова знаешь?

– Да не про Гладцинова, а Годунова.

– А-а, Годунова! – И весёлость постепенно исчезает из глаз князя.

Может, ему неприятно вспоминать про Годунова – они ведь, папа мне объяснял по книге, были враги. Или притворяется, что не понимает, про кого я спрашиваю, – может,

не хочет, чтобы люди узнали, что он, Шуйский, князь. Он делает ещё две глубокие затяжки, пускает в сивую бороду дым и встаёт, отряхиваясь.

– Сидеть ладно, а дело кончать ещё ладнее. Так аль нет, Юрий-Егорий?

– Так, – подавив вздох, отвечаю я.

Не удалось мне пока узнать про него. Опять буду мучиться до самого сна – настоящий он князь Шуйский или нет, а если настоящий, то как же он столько прожил?..

...Вечером я папу спрашиваю:

– Ты, папа, знаешь того дедушку, что крышу красит?

– Да. А что?

Папа только что вернулся с участка и умывается, а очки его, как всегда в это время, лежат на полочке возле мыльницы.

– Скажи, он князь Шуйский или нет?

– Как? Князь Шуйский? – Папа хватает полотенце, но не вытирается, а, сильно щурясь, смотрит на меня. И чего они улыбаются все, когда я о чём-нибудь спрашиваю?

Он быстро всё-таки вытирается, надевает очки и ведёт меня за собой в комнату.

– Ты опять залезал на крышу, это никуда не годится. Но при чём тут князь Шуйский? Только, пожалуйста, не жуй кашу, когда отвечаешь.

Он всегда говорит, что я жую кашу, когда отвечаю. Он сам немножко недослышит, и ему кажется, будто я что-то жую,

а я только «р» не слишком твёрдо выговариваю, а так у меня во рту ничего нет.

Я ещё раз повторяю свой вопрос: может это быть или нет, что тот дедушка – князь Шуйский, который нарисован в книге?

– Аня, ты слышишь? – кричит папа маме на кухню и тоненьким, даже странно, каким тоненьким голосом заливается смехом.

И Ксенька тут откуда-то взялась, схватила себя за кончик круглого носа и захохотала радостно. И мама, показавшись в своём переднике на пороге, засмеялась. Я сперва хотел обидеться, но вдруг сам прыснул, и пошло. Я не могу удержаться, когда другие хохочут. А уж если папа взялся смеяться, тут никто не выдержит. Он потом к концу даже будто плачет, жалобно всхлипывает и платком вытирает голубые свои глаза под стёклышками очков. Ну и пусть. Всё равно тот дедушка-красильщик похож на князя Шуйского. Я завтра папу специально подведу к нему, а после ещё раз покажу книгу, где он нарисован.

## **В папином кабинете**

Потом я ещё долго про него вспоминаю. Как увижу на полке ту книгу, так сразу вспоминаю, как он красил, и его песню.

Я сейчас дома сижу. На улице дождь, слякоть, последние листочки с берёз слетели, а дома натоплено и хорошо. Я сижу

в папином кабинете, за его столом – мне это папа позволяет – и воображаю, будто я работаю. Будто я тоже пишу книгу про томаты и разные культуры – как их надо здесь выращивать.

Сперва я смотрю в микроскоп. Как папа. Там внизу, под трубкой, есть заслоночка, и когда её отодвинешь, виден белый светящийся кружок. Папа кладёт на него зёрнышки рассматривает их. А потом срисовывает в блокнот. Они получаются большие и полосатые.

Он всегда так радуется, когда у него хорошо выходит! Он, мама говорит, хочет, чтобы на севере росло то же, что и на юге: гречиха, люпин, тыква, кабачки, помидоры, кольраби, цветная капуста, клубника. Всё это и кое-что ещё папа выращивает на школьном участке, но ему хочется, чтобы это бы и в колхозах. Поэтому он устраивает в школе выставки, беседует с мужиками и заведующими, проводит совещание с агрономами в Вожеге.

Папе, мама говорит, надо очень много знать. Вот он и делает разные опыты – скрещивает, прививает – и всё аккуратно записывает: какая была погода, какие удобрения, какие семена. И когда опыты удаются, папа быстро переписывает из блокнота на отдельные листки, а затем печатает на машинке. Это такая чудная машинка, чёрная. Она хлопает, и верхушка её сама двигается. И отпечатывает на белой бумаге буквы, как в книге. Папа эту напечатанную бумагу складывает в ящик стола – там уже много лежит таких бумаг с рисунками.

Но когда у папы что-нибудь не выходит, он делается грустный. Поднимет на лоб очки и сидит, тихонько постукивает пальцами по столу. Это он так думает. Или же встанет и начнёт прохаживаться по кабинету. Походит, снимет какую-нибудь книгу с полки, полистает и поставит её на место. Иногда при этом сердито взмахивает рукой, будто с кем-то споря, но вслух ничего не говорит.

Потом опять походит, ещё одну книгу возьмёт и снова задвинет её меж других книг. А иногда не задвигает, а, полистав, принимается читать, сперва стоя, потом прислонившись к подоконнику, потом усевшись на уголок кушетки. Если в этой книге стихи, то лицо папы добреет, он закрывает глаза и что-то шепчет, покачивая головой. Я думаю, он так отдыхает. У папы весь кабинет в книгах. Они стоят на полках вдоль стен от пола до самого потолка...

Я немножко смотрю в микроскоп, немножко рисую, немножко трогаю печатную машинку. Затем придвигаю стул к стене и начинаю выбирать книги. Я выбираю только те, которые с интересными картинками.

Особенно я люблю Брема. Там изображены птицы, звери, море, и мне всегда после этого хочется побыстрее стать моряком. Там есть антилопы, носороги, гиппопотамы, тигры, львы, кенгуру с короткими передними лапками и малышом, который выглядывает из живота; верблюды, страусы с толстыми, как у лошади, ногами, разные пёстренькие птички, леопарды. А про ягуара я уже рассказывал.

Как они все называются, мне объясняет мама. Сам я прочитать не могу, потому что книги Брема на немецком языке. Их читает только папа, а мама лишь немного понимает.

Ещё я очень люблю про Гулливера. Там в одном месте он сидит в сундуке, а его под облаками тащит орёл. А на другой картинке сидит лошадь. Облокотилась передней ногой на стол, подпёрла щеку и внимательно слушает Гулливера. Как человек. И видно, что она думает. Жалко лишь, что и эта книга не русская. Она в красном матерчатом переплёте, и на ней написано золотыми буквами по-французски. Это очень странный язык, как будто тебе нос зажали. Я «р» по-французски выговариваю, папа сказал.

Вот я и не скучаю, хоть мне и нельзя гулять из-за дождя. Я на днях прочитал «Конька-горбунка». Мне в особенности понравился конец, как он выкупался. Только как же он все-таки прыгнул в котёл с кипятком? Я бы ни за что не прыгнул, не осмелился бы. Ради того, чтобы царём стать, – ни за какие денежки! И вообще, зачем ему это, раз он со своим горбунком сильнее всех царёв? Вот уж правда дурачок, хоть и добрый!

Я всяких царей и буржуев не люблю. Мне сейчас попала как раз такая книжка. Я её сперва смотрел на папином столе, а потом перебрался на пол, развернул её – она вся в картинках и раскладывается, – лёг на живот и стал глядеть по порядку. Она называется «Наши достижения». В ней нарисованы красные тракторы, красные трубы, а внизу под чертой,

где тракторы, – что было раньше, при царе: оборванные мужики с сохой, а рядом – богатей кулак, в жилетке, в сапогах, и цифры – сколько собрали пудов тогда и сколько теперь. А где красные трубы, там под чертой – худенький сердитый рабочий, а рядом стоит буржуй, пузатый, с короткими ножками и цепочкой через весь живот, и опять цифры. Я бы всех буржуев перебил.

Я вспомнил такую Ирину песню:

Мы пойдём к буржуйам в гости,  
Мы пойдём к буржуйам в гости,  
Мы пойдём к буржуйам в гости,  
Поломаем рёбра, кости,  
Во, и боле ничего!

Последние три строчки надо петь быстро, а после «во» сделать остановочку и весело закончить – «и боле ничего!»

Только у буржуев нет рёбер, я думаю. У них одно пузо. Я хочу, чтобы отовсюду прогнали таких уродов и поломали им кости.

Потому что они не люди. Поэтому мне их не жалко.

Я Будённого люблю. Над моей кушеткой висит портрет Будённого, и мне нравится на него долго смотреть. У него боевые усы. Я его так и вижу на коне, с шашкой, как он рубает. И как буржуи от него бегут на коротеньких ножках. И как барон Врангель выглядывает из-за каменной стены – у него лицо длинное, губы тонкие, с загнутыми вниз уголками. Он

похож на чёрта, только в папахе.

Я чертей видел в другой папиной книге. У них на голове острые прямые рога, а глаза белые. Я как представлю себе его живым – сразу делается холодновато. Особенно от того чёрта, который воткнул в человека кинжал и смотрит на меня с картинки. Ещё очень страшно, как голый человек откинулся спиной к каменной плите, а снизу из могилы выбивается огонь. А ещё – как земля вся покрыта такими плитами и из-под них идёт дым. Что же там бедные люди делают, как же им, наверно, горячо!.. Или как с неба падают огненные капли, а голым людям некуда спрятаться. Зачем это? Или вот ещё. Голый человек (они там почему-то все голые) сидит на камне и смотрит на свою отрубленную голову, которая лежит у него на коленях. Так странно! Я никак не могу этого себе вообразить – как же он её видит, чем? А голова, которая лежит на коленях, тоже смотрит страдающими глазами. Очень жуткая картинка! Он только шею чуть склонил, свой обрубок...

У меня папа отобрал эту книгу и запретил брать. Он сказал, что я ещё не дорос до Данте. Мне надо читать детские книжки, а картинки смотреть лучше всего про животных и дальние страны...

Раскладная книжка мне надоела. Я теперь возьму «Бахчисарайский фонтан». Там тётенька голая, печальная стоит, думает. О чём она думает? А хан Гирей обмотал голову полотенцем и лежит, курит трубку. Может быть, у него голо-

ва болит? Когда у папы сильно болит голова, мама даёт ему полотенце, намочит в горячей воде, выжмет, а папа положит его на свою лысину и ходит по комнате, и я вижу, что ему больно. И мне его жалко. Я своего папу люблю больше всех на свете.

Мне что-то расхотелось смотреть «Бахчисарайский фонтан». Я лучше полежу на кушетке и подумаю, как я его люблю. А потом прозвенит звонок, папа и Ира придут весёлые из учительской, и мы будем обедать. А Ксенька ещё раньше их прибежит, у неё во втором классе меньше уроков. А пока она не прибежала, я, пожалуй, ещё раз посмотрю в микроскоп и немножко повоображаю, будто я работаю.

## **Праздничным вечером**

Наконец-то наступил праздник! Везде вывешены флаги, плакаты, а под портретами в коридорах и просто перед входом в дома прибиты пушистые еловые ветки. И повсюду этот особый запах, который бывает только на Октябрьскую: пахнет пирогами, первым снежком, ёлками.

Вчера после обеда я ходил провожать папу и Иру в избу-читальню на торжественное собрание, сегодня целый день гулял по улице, а сейчас мы отдыхаем. У нас в гостях учительница Вера Клавдиевна с сестрой Еленой Клавдиевной. Мы пьём чай.

Я всё на мёд налегаю. Я нарочно для этого и подсел к папе.

Он мне подкладывает и подкладывает, а я ем и ем и будто ничего не замечаю. Я, конечно, замечаю, что мама поглядывает на меня строго, но при гостях она мне ничего не говорит. Она боится, что я опять объежусь. Я всегда обедаюсь Первого мая и в Октябрьскую годовщину.

Мама сидит за самоваром. По одну сторону от неё – Ира, по другую – Ксенька. А я рядом с папой и чуть-чуть прячусь за него, как будто я не вижу за ним маминых глаз. Напротив меня и папы сидят Вера Клавдиевна и Елена Клавдиевна.

Они разговаривают и разговаривают. О том, что было раньше, что теперь. Но я не очень прислушиваюсь к их разговору. Я просто наслаждаюсь.

Во-первых, все улыбаются, а Вера Клавдиевна порозовела, и папа такой оживлённый и шутит, и Вере Клавдиевне нравится, как он шутит. Во-вторых, на столе скатерть, вазочка с вареньем, тарелки – всё так замечательно. В-третьих, папа надел чёрный костюм и белую рубашку с галстуком; если бы он знал, какой он красивый сейчас, то он бы чаще так одевался, но он очень редко так одевается, а ходит каждый день в клетчатой рубашке и сапогах. А мама приколола красненькую брошь на грудь, глаза у неё синие, лицо смуглое, с румянцем, и волосы на голове высокие, чёрные. Они с папой всегда смеются, что маму считают папиной дочкой; он её всего на семь лет старше, но он седенький и с бородой, поэтому и считают.

Ну, и конечно, я из-за мёда наслаждаюсь. И ещё из-за того,

что Ира притихла и переживает про себя, – мне интересно видеть её такой. Она потому сейчас такая, что ей не очей нравятся Вера Клавдиевна с Еленой Клавдиевной. Они, Ира говорит, какие-то блаженные старые барышни.

А мне они всё равно нравятся. Особенно Елена Клавдиевна. У неё седая, будто серебряная, голова и прямой нос. У неё одна рука плохо двигается, она болела параличом! Ксенька вчера ходила к ней помогать по хозяйству.

Сейчас Ксенька сияет голубыми глазами – тоже наслаждается. Уселась около мамы и берёт печенье за печеньем и медок, и ей ничего. Никто не глядит на неё строго. А лицо Иры, я вижу, начинает краснеть. Сейчас она скажет Вере Клавдиевне *бестактность*, как это называет мама. Она этого очень не любит.

– Юра, покажи нам, как на Троицын день пляшут, вдруг говорит мама.

Она из-за Иры меня это просит, я знаю. Ладно, мама, я тебя выручу. Я слезаю со стула, и папа слезает и отодвигается к фикусу, и все снова начинают улыбаться, даже Ира, и смотрят в ожидании на меня.

Ничего, пусть подождут. Я скидываю башмаки: босым плясать ловче. Елена Клавдиевна поворачивает серебряную голову ко мне. Ксенька замирает и перестает жевать! Сейчас они посмотрят, как пляшут на Троицын день, пусть полюбуются.

Я отвожу руки назад, приближаясь к Елене Клавдиевне,

и останавливаюсь шагах в двух от неё. Потом, вздёрнув подбородок и чуточку выждав, начинаю отчаянным голосом, как пьяные парни, первую часть частушки:

Эх, раскачу катушку ниток  
По зелёным по лугам.  
Ой!

Тут я топаю пяткой и, разворачиваясь влево и уронив голову на грудь, иду по кругу, выделявая ногами что полагается.

Я прохожу два круга, сам себе подыгрывая языком, как на гармошке, потом снова останавливаюсь напротив немного оробевшей Елены Клавдиевны, отвожу руки назад и отчаянно-пьяным голосом, как те парни, допеваю частушку:

А если сделаешь измену,  
По зубам наганом дам.  
Ой!

Опять топаю пяткой и опять, свесив голову и чуть согнувшись, как парни, иду, приплясывая, по кругу и подыгрываю себе языком.

– Bravo! – говорит папа.  
– Молодец! – выкрикивает Ира.  
– Ладно аль нет? – спрашиваю я Веру Клавдиевну. Я выставляю одну ногу вперёд и будто курю: подношу два пальца

ко рту и дую.

– Хорошо, хорошо, – растерянно произносит Вера Клавдиевна и делает такой смешочек: «М-м-м-м» – с закрытыми губами, как коза, когда подзывает козлёнка.

– Ещё? – спрашиваю маму.

Мама кивает, она уже хорошо на меня смотрит.

А Ира берёт балалайку, и в глазах у неё прыгают веселые чёртики.

И я опять пою, обращаясь к испуганной Елене Клавдиевне:

Будет, будет, покаталися

На конях вороных.

Ой!

И после пляски под Ирину балалайку:

А топере покатаемся

В вагонах голубых.

Ой!

Снова пляшу, а Ира подзадоривает меня:

– Вприсядку, вприсядку, Юрка!

А Ксенька орёт:

– Дробью!

Я иду вприсядку, и дробью – пятки у меня твёрдые, – и пою снова, всё больше пугая бедную Елену Клавдиевну:

Эх, дорогой ты мой товарищ,  
Вострый ножик на тебя.  
Ой!  
А ты не первую – вторую  
Отбиваешь у меня.  
Ой!

И чтобы было совсем так, как на Троицын день, я закладываю пальцы в рот и свищу – я это тоже умею.

Елена Клавдиевна, кажется, близка к обмороку, Вера Клавдиевна делает своё: «М-м-м-м» – и немножко побледнела, мама сконфуженно молчит – может, я перестарался? А что папа молчит? А папа заслонил лицо рукой и беззвучно трясётся от смеха. А Ира продолжает наяривать на балалайке и улыбается, как Мефистофель. Вот она рада-то, я представляю!

– Ну, довольно, Юра, – говорит с улыбкой мама, – ты устал.

– А и нисколечко...

– Поди ко мне, ты сегодня спать не будешь.

– Да, – говорит, вставая, папа. – Раскачу катушку ниток...

Картина точная!

И он своим особенным движением проводит ладонью по моей голове, как будто ввинчивает винтик. А Ксения мне потихоньку печенье в карман суёт. И Ира подобрела и не будет говорить *бестактность*. А Вера Клавдиевна с Еле-

ной Клавдиевной потому так растерялись, что они к этому не привыкли: они всё время жили в Вологде, в самом городе, они к нам только этим летом переехали.

## Сёстры, Люба и костыли

– А не хватит ли тебе, Юрка, дурака валять? – как-то говорит мне Ира.

Я нашёл на чердаке костыли, подтянул под себя ногу, зажмурил глаза и расхаживаю по комнате. Как наш секретарь партячейки, которому оторвало ногу на войне. Ксенька зажимает пальцами нос: от костылей несёт йодоформом (это такой зеленоватый порошок, он у папы есть). А мне так очень нравится ходить на костылях: упрёшься на них и переставляешь ногу, упрёшься и переставляешь.

– А что я могу, если я без ноги? – говорю я Ире, когда она ещё раз спрашивает, не хватит ли мне валять дурака.

– Перестань, маме будет дурно, – ворчит Ксенька. Выброси эту гадость!

Мама сейчас на кухне, а папа уехал. Он в выходной всегда уезжает или уходит пешком в дальние деревни. Он там проводит собрания о культуре животноводства и как надо правильно выращивать овощи. Я не люблю, когда папы нет дома, его я сразу послушался бы.

– А как это – валять дурака? – пристаю я к Ире, которая читает книгу.

– Отвяжись и не стучи.

– А я и так не привязан. Ты мне объясни, раз ты учительница – как это валять дурака? Какого дурака?

– Я пойду маме скажу, – грозитя Ксенька. – Развёл такую вонь, даже голова заболела.

Она сидит над задачкой. У неё плохо решаются задачи, вот она и сидит в выходной день.

– Вонь не разводят, это цыплят разводят, – смеюсь я над Ксенькой. – А ты скоро заревёшь, потому что тебе всё равно не решить. Ты бестолковая, – добавляю я и поворачиваюсь снова к Ире.

– Юрик, иди к Кораблёвым, – говорит Ира. – Иди к Любе, к Володе, покажи им костыли.

Ой, хитра! Она нарочно ласковым голосом говорит, знает, что я люблю, когда мне говорят ласково. Если бы она не хитрила, то я бы сразу пошёл. Интерес мне какой с ними, с ворчуньями-сёстрами, сидеть!

– А леденцов дашь?

– Дам, дам, отвяжись! – Ира опять уткнулась в книгу.

– Не дашь, – говорю я уверенно.

Она просто забудет о своём обещании, я знаю. Она лишь тогда не забывает, когда скажет «честное комсомольское или когда, потеряв терпение, отколотит меня.

– Ладно, посмотрим, какое твоё комсомольское! – Я ей специально это говорю. Теперь, может, и не забудет.

А она вдруг захлопывает книгу и спускает ноги в чулках

с дивана. Она всегда так внезапно перестаёт читать. Она всё делает внезапно и неожиданно: она порывистая.

– Знаешь, что я придумала? – Ира, приоткрыв рот, улыбается и моргает зеленовато-серыми глазами. – Я тебя возьму в физкультурный кружок. Тогда по крайней мере перестанешь балбесничать.

– Вы мне ещё долго будете мешать? – чуть уже не ревёт Ксенька.

– Иди в папин кабинет, – говорит Ира. Ей, видно, делается жалко Ксеню-мученицу, и она ещё говорит: – Иди, Ксенюшка, я тебе потом помогу.

Ксения с покрасневшим носом молча забирает со стола задачник и тетрадку, а Ира опять, довольно улыбаясь, смотрит на меня. Ей самой нравится, что она насчёт меня придумала. Но я ей пока не очень верю.

– Правда, в кружок возьму, честное комсомольское, – говорит она. – А теперь катись, мне тоже надо позаниматься.

Я бы даже поцеловал её, какая она хорошая, но она этого не любит. Я только делаю Ире ручкой и, подхватив костыли, качусь из комнаты.

Я иду к Кораблёвым. Сперва я припрятаваю костыли в коридоре, где стоит ларь с мукой, а потом стучу к ним в дверь. Это меня Анатолий Евлампиевич научил – стучаться в дверь. Он отец Любы и Володи. Он заведующий нашей школой.

Люба сидит за столом и рисует. Володя складывает кубики

на полу – он на год помладше меня.

– Ты чего рисуешь, Люба? – спрашиваю я, усаживаясь рядом с ней.

Люба перерисовывает из книжки цветы.

– Дай листочек, я тебе тоже что-нибудь нарисую.

Она даёт мне листочек и толстый карандаш.

Я рисую ей корабли, с мачтами, с трубами, с чёрным дымом. Нарисую один и погляжу на неё. Потом нарисую второй и опять погляжу. Мне нравится смотреть на её лицо.

Мне её нос нравится. Я люблю, чтобы у людей был не толстый нос и не курносый. У Иры – курносый, и она, когда смотрится в зеркало, страдает. А у Ксеньки нос картошкой.

Я устал от их носов. Ещё я гляжу на Любин лоб и на глаз Я её люблю – из-за носа и из-за всего лица. Мне даже её голова нравится, хоть на ней короткие волосы, как у мальчишки.

Я бы потрогал её голову, но боюсь – рассердится. Она у неё тёплая, голова, и большая. У Володи тоже большая и тёплая, – у него я трогал. Они на своего папу похожи. У Анатолия Евлампиевича тоже большая голова, но не тёплая. У него очень чёрные глаза, и, когда он смеётся, они делаются узенькие, с огоньками.

Мы с Любой однажды вечером так сидели, сидели, и я чуть не уснул за их столом – всё не хотел уходить. Мы тоже рисовали.

Я рисовал свои корабли, а потом стал говорить ей слова, которые прочитал в журнале, где были нарисованы матросы.

Люба сказала, что это неприличные слова – так ругаются. Я этого никак не мог понять, потому что у нас мужики, когда бьют лошадей, ругаются совсем не так. Но я больше не стал повторять этих слов, чтобы Любе не было неприятно. Я уже и тогда ее любил.

– А меня Ира возьмёт в физкультурный кружок, – говорю я.

– Хвастать нехорошо, – замечает Люба.

– Я ведь не хвастаю, а правду говорю. Ты ведь тоже говорила, что тебя твой папа учит играть на фисгармонии.

– У меня дело идёт пока неважно, – признаётся Люба. Надо всё время упражняться и развивать пальцы.

– А ты не можешь сейчас немножко поупражняться?

У них в другой комнате стоит чудесный инструмент, желтый, сияющий, – фисгармония. Я однажды слышал, как Анатолий Евлампиевич играл на нём. Так волшебно!

– Я в четыре часа буду заниматься, говорит Люба, – сейчас половина четвёртого. Тебе придётся подождать.

– Спасибо. А я тебе потом тоже что-то покажу, когда кончишь заниматься, принесу из коридора. А ты не хочешь поступить в физкультурный кружок?

– А что там, в этом кружке, интересного? Ты сам-то имеешь об этом представление?

Вот она, Люба, какая! Она станет учительницей. Как её мама, Лидия Николаевна. И папа, Анатолий Евлампиевич. Недаром она так похожа на своего папу-заведующего.

По правде, я не очень хорошо знаю, что интересного в физкультурном кружке. Интересно лишь то, как они выступали на школьном утреннике: строили разные пирамиды, мостики, стояли друг на дружке, вытянув руки.

– Он красивый, – говорю я Любе.

– Красивый, – соглашается она.

Она со мной иногда соглашается. И когда она соглашается, я её особенно люблю. Я бы её взял к нам жить.

– Тебе нравится эта ромашка? – показывает мне Люба свою нарисованную ромашку. – Правда, красивая?

– Красивая, – соглашаюсь я. Я хочу, чтобы она меня тоже любила.

А она вдруг смеётся и соскакивает со стула. И бежит в другую комнату, где стоит фисгармония. А я отправляюсь в коридор за костылями.

Я уже придумал развлечение: Люба будет играть на фисгармонии, а я под её музыку буду ходить на костылях. Как секретарь партячейки. Может, мне тоже когда-нибудь на войне оторвёт ногу, а я теперь наупражняюсь, и мне будет не страшно.

## **Я цыган**

Мама приготовила мне чёрные трусики, рубашку с короткими рукавами и мягкие тапочки. Я уже три раза примеривал их. Я никак не дождусь, когда закончится последний

урок у Иры, и она поведёт меня в свой кружок. Она сейчас занимается физкультурой с шестым классом на улице. Пойду-ка и я на улицу, чтобы не так тянулось время.

Надев пиджак и ушанку, я спускаюсь по чёрной лестнице на крыльцо. И сразу вижу Серёгу. Он-то меня пока не видит, стоит ко мне спиной и смотрит в открытую дверь сарая. Там папа занимается с седьмым классом, объясняет им про сельскохозяйственные машины, – я это с крыльца вижу, поверх Серёгиной головы.

Я всегда немножко стесняюсь, как папа объясняет. Я несколько раз подглядывал за ним во время урока, а однажды слышал его выступление на школьном собрании и смотрел на его лицо. Я очень страдал, когда смотрел, потому что папа как-то не так всё говорит и тянет: «Э-э-э». Скажет что-нибудь, и пока думает, что дальше сказать, у него получается: «Э-э-э». Я очень переживал из-за этого «э-э-э» и из-за того, что он говорит обыкновенными словами и не про то. Другие учителя на собрании говорили – «успеваемость», «посещаемость», «дисциплина», «обязаны», а папа вдруг придумал сказать, что ребятам надо почаще ходить в баню. При чём тут баня? А на уроках в классе он им объясняет про земляную грушу и томаты, которые тут никто не выращивает, и не только объясняет, но и даёт по кусочку попробовать. Какой же это урок? А ученики папу всё-таки очень любят, и мне это приятно.

У Серёги даже спина распрямилась – так пристально гля-

дит он на машины. Он учится в шестом классе, физкультурой заниматься не может, вот и приплёлся сюда. Я видел однажды, как во время урока физкультуры он помогал папе укладывать в ящики кольяраби. И зачем папа позволил ему, раз Серёга такой злока?

– Серёга, – окликаю я, – а Серёга!

Он оборачивается, глядит на меня, но на его лице сейчас нет злости. Наверно, забыл, как я называл его живодёром.

– Серёга! – повторяю я, потому что он отвернулся.

– Ну чего тебе? – Он ступил на слабую ногу, качнулся и отодвинулся от двери.

– Серёга, хочешь, я тебе костыли подарю? – Мне хочется сделать ему приятное за то, что он больше не злится.

Серёга подковыливает к крыльцу, засовывает руки в карманы и рассматривает меня так, будто я зверюшка какая-нибудь или с неба упал.

– Ты знаешь кто? – потом спрашивает он.

– Кто?

– Ты цыган. Тебя цыгане-балагане подкинули твоим родителям, понял? Ты не своо отца и матери сын, ты выродок, подкидыш!

Самое противное, что Серёга говорит это спокойным голосом, уверенно. Так уверенно и спокойно не шутят. Может, он знает какую-нибудь ужасную тайну?

– Ну, что приумолк? Чего колупаешь нос? – похоже, уже злорадствует он.

– Врёшь ты всё, Серёга.

– Нет, не вру. Тебе-то, ясно, родители об этом не скажут. Жалеют тебя, несчастного подкидыша, а люди всё знают, всё, как оно есть.

И Серёга, даже не взглянув на меня, ковыляет за сарай, где они всегда курят.

А может, это и правда? Может, я цыган-подкидыш? Ведь только совсем недавно мы узнали, что Труся не родная наша сестра, а папа и мама взяли её у бедной женщины, когда Труся была маленькой. Теперь она взрослая, живёт не с нами и всё знает, а до этого ни она, ни мы ничего не знали. Наверно, и я такой же: у меня карие глаза, а у мамы и папы не карие, и мне ещё раньше говорили, что я на них не похож и что я цыганёнок.

Я по привычке спрыгиваю с крыльца и иду к лесу. Как это нехорошо и грустно, что мои папа и мама, оказывается, не мои! Как это обидно, неприятно! А где же они, настоящие мои папа и мама – цыгане? Зачем они меня подкинули?

Я иду дорожкой, которой летом ходил в кооператив, и удивляюсь, как всё стало близко. Вот и больница отсюда, с края поля, видна, а летом её не было видно, и стены церкви, и белые от инея мостки. Иней и на полёгшей жухлой траве, и на жердях, и на перепаханном поле, и на голых ветках берёз. Вот и тропинку мою снежком занесло, и мне хочется плакать. Зачем они мне сами не сказали? Зачем я такой?

Я слышу тонкий звонок, который долетает из школы,

и мне делается ещё обиднее. Сейчас Ира отпустит учеников и будет собирать кружок. И будет спрашивать про меня: где Юра? И мама будет спрашивать, и Ксенька. И папа потом спросит. И, может быть, не дождавшись, они сядут без меня обедать, весёлые – им что? Был и нет. Был у них подкидыш Юрка – и исчез. Что им, жалко меня? Что я, родной им?

Я поворачиваю в сосняк, где заблудился летом. Теперь тут нет муравьёв и далеко всё видно, и всё белое от инея, но и теперь тут можно заблудиться. И пусть я опять заблужусь, пусть на меня нападут волки – кому я нужен? Я глотаю слёзы и утираю их, а они набегают опять, и в носу от них горячо, и я никак не могу с ними справиться. Ну и пусть!

Не знаю, сколько я так бреду наугад, как вдруг сзади зашелестели быстрые шаги, и, обернувшись, я увидел Иру. Я бросился бежать, но она сразу настигла меня, схватила и давай целовать в щёки и что-то приговаривать. И тут я ещё увидел за кустами угрюмое лицо Серёги.

– Дурачок ты, дурачок, – приговаривает Ира и вдруг, повернувшись к Серёге, резко говорит: – А ну, подойди-ка сюда!

– Да я чего? – выходя из-за кустов, бормочет Серёга и снимает шапку. – Он летось всяко костил меня – живодёром, подкулачником, костыли топере, как калеке, надумал дарить. Кабы не уважал вашего папаши – ни за что бы не повинился, только ради папаши. А так пускай убёг бы, шкет...

– Дурак! – вся покраснев, выкрикивает Ира, забыв, что

она учительница. – Убирайся сейчас же!

Серёга, натянув шапку, отковыливает прочь, а Ира всё повторяет мне близко в лицо, что это идиотская шутка, что я настоящий сын папы и мамы и её, Иры, родной братик, и что надо торопиться, а то нас уже ждут ребята и девочки из физкультурного кружка.

## У лесорубов

Я стою на голове, упираясь руками в пол и вытянув кверху ноги, и жду, когда Ира скажет: «Раз!» Из своего положения я вижу лица людей, которые, кажется, сидят вниз головой, и слышу, как они хлопают. Один такой опрокинутый дяденька раскрыл рот – я и это вижу. Я могу так сколько хочешь стоять и всё разглядывать, и мне ни капельки не тяжело.

– Раз! – командует Ира.

Я подгибаю колени и касаюсь ногами пола.

– Два!

Выпрямляюсь, а девочки соскакивают с плеч ребят.

– Три!

Девочки, которые делали «мостик», плавно взмахивают руками и распрямляют спину.

– Четыре!

Мы снова выстраиваемся в ряд, я – самый последний.

И снова хлопают дяденьки, которые сидят теперь вверх головой, и улыбаются, и громко от удовольствия перегова-

риваются.

– Напра... во!

Мы, маршируя, уходим со сцены, а они всё хлопают и довольно гудят.

Это наш физкультурный кружок выступает у лесорубов. Мы уже выступили в школе и в избе-читальне, а сегодня главный заведующий из Вожеги попросил Иру поехать с нами в лес. Вот мы и приехали сюда показывать своё представление, чтобы лесорубам не хотелось справлять религиозный праздник Рождество.

На сцену выходит Драсида, Ирина подруга, а Ира в это время прилаживает бороду на резинке, парик и заворачивается в простыню. Она будет изображать бога Саваофа, а я – чертёнка. Пока она заворачивается, я уже влез ногами в рукава вывернутой шубы, завязал тесёмки и натягиваю шапочку с рогами. У меня есть даже хвост, как у настоящего чёрта. Теперь ещё меня подмажут сажей, и будет всё в порядке.

– Готов, нечистая сила? – голосом Саваофа спрашивает Ира.

– Сейчас, – пишу я, как чертёнок.

Я первый раз чуть живот не надорвал, когда Ира вырядилась Саваофом. Курносый нос, белая борода и босиком!

Я смотрю, как Ира приклеивает лохматые брови, натягивает на лоб старые папины очки, и одним глазом слежу за Драсидой. Та, румяная, с чёрной косой, зубки как сахар, декламирует:

Где-то с перебоями тальянки  
Песня угасала на ветру.  
В эту ночь ему не до гулянки.  
Трактористу Дьякову Петру.

Значит, ещё не очень скоро: ещё как будут его убивать, тракториста. Моё лицо раскрашивают сажёй, а остальные девочки, отворачиваясь от ребят, надевают платья. Они уже свободны, теперь под конец выступим мы с Ирой.

Вот уж и Ира – Саваоф готова и поглядывает из-за занавески на Драсиду и я готов, и Нюра с книжечкой приготовилась нам суфлировать, если мы с Ирой забудем слова. Но мы их не забудем.

Где-то с переборами тальянки  
Песня угасала на ветру, —

в последний раз грустно повторяет Драсида, и лесорубы притихли, и видно, что им жалко тракториста Дьякова Петра. И мне его всегда бывает жалко, когда я про него слушаю. Уж лучше бы он с девушками гулял в эту ночь, а не работал на тракторе!

Драсида умолкает, и все ей хлопают. А потом, когда перестают, она говорит, что мы сейчас покажем сценку «Случай на небесах».

Ира из-под наклеенной лохматой брови подмигивает мне,

чтобы я не боялся (а я и так не боюсь), и выходит. И сразу там, где сидят дяди, проносится шумок и тихий хохоток.

– Где очки? Кто утащил мои очки? – спрашивает Ира голосом

Саваофа и расхаживает по сцене босая, будто бы разыскивая их (а они у неё на лбу).

– Пётр! – грозно говорит она.

– Ась? – раздаётся из-за сцены.

– Не видел ли моих очков?

– У сына сатаны, великий боже, спроси...

– А ну, подать сюда чертёнка! – приказывает Ира – Саваоф.

И тут выскакиваю я и начинаю жалобно мяукать и кружиться. И я уже сам не слышу своего мяуканья, потому что все громко хохочут. Ира – Саваоф сердито говорит, что я, исчадие ада, опять стащил её очки, и, переступая босыми ногами, хочет меня схватить, а я увёртываюсь, мяукаю и показываю чёрными пальцами на очки, про которые он, бог Саваоф, забыл, что они у него на лбу.

Я прыгаю из стороны в сторону, и хвост мой прыгает следом и бьёт по полу, и бог Саваоф наконец устаёт за мной гоняться.

– Апостол Пётр! – снова грозно говорит Саваоф, отдуваясь.

– Чаво?

– Да долго ль будешь ты лежать на печке, лежебока? По-

звать ко мне Илью-пророка!

– О, Господи! – пишу я. – Пощади, всевышний! Не надо молнией меня разить, прошу покорно пощадить!

– Да? – удивлённо говорит Саваоф, широко расставив ноги и выпятив живот (там под простынёй у Иры подвязана подушка). – Так где ж мои очки?

– Вот, всемогущий!

Я разбегаюсь, наклонив голову, как козёл, и тыкаю Саваофа в живот рогами. Он от неожиданности плюхается на пол, а очки слетают со лба и падают ему на колени, а я, мяукая и кувыркаясь, убегаю со сцены.

И все опять хохочут и хлопают. И две девочки закрывают занавес.

Вот и всё наше представление.

Мне так нравится изображать чертёнка, что я бы ещё раз выступил. И я ещё некоторое время мяукаю и бодаюсь, пока Ира не приказывает всем надеть тулупы и выходить на улицу.

Мы одеваемся и идём к своим лошадям, усаживаемся в сани, поплотнее укутываемся и едем обратно.

...Хруп, хруп – топ, топ; хруп, хруп – топ, топ...

Покачивается над лошадиной гривой дуга, льётся лунный свет, из наших ртов вылетают клубочки пара.

Мы едем по какому-то длинному ледяному коридору – или это богатыри встали плечо к плечу, обсыпанные снегом, с заиндевевшими бородами? Это ели. А может, и уснувшие

богатыри в островерхих шлемах, могучие, как дядька Черномор.

Хруп, хруп – топ, топ делает лошадь, выбрасывая ногами, и круглая спина её сияет от луны, и подпрыгивает, и мешает смотреть вперёд.

На моём меховом воротнике образовались уже голубые сосульки, но самому мне тепло, только ноги немножко затекли от тяжести. А я всё равно не шевелюсь, я смотрю и смотрю, и иногда мне кажется, что мы не едем, а скользим на месте, и лишь в ушах это «хруп, хруп», и поют полозья, и временами сани заносит, или вдруг они будто начинают двигаться в обратную сторону.

– Не спать, не спать! – раздаётся голос бога Саваофа, и я знаю, что это Ира и что она слева от меня, а справа Драсида, а внизу на соломе Ксенька и Нина Чувакина давят мне на ноги, а кучер Митрич впереди, – знаю и всё-таки вижу перед собой белую бороду Саваофа.

– Но-о! – прикрикивает Митрич, взмахивает серебряным кнутом и сбивает с неба острую звёздочку. Она, светленькая, царапнула небо и пропала.

Куда пропала?

– Не спать, не спать! – повторяет Ира – Саваоф и тормозит меня.

И я слышу низкий голос Драсиды, запевающей:

Мы кузнецы, и дух наш молод

Куём мы счастья ключи...

Ира сразу подхватывает:

Вздымайся выше, наш тяжкий молот,  
В стальную грудь сильнее стучи, стучи, стучи!

Ксенька и Нина чуть освобождают мои ноги, поворачивают к нам головы в опущённых инеем шалях, и песня делается ещё громче:

Ведь после каждого удара  
Свободней взмах, сильнее грудь...

Тут уже долетает сзади, из других саней, и звучит вместе с нашими голосами:

И со всего земного шара  
К нам угнетённые идут, идут, идут!

И вот уже нет сна, нет Саваофа и засыпанных снегом богатырей, а есть зима, луна, лесная просека и мы, тёплые в своих тулупах, едущие с замечательной песней к себе домой.

## **Опять собака**

Собака меня не забыла. Стоило мне только появиться на этой дороге, как она опять, выскочив из-за крыльца, по-

катилась мне наперерез. Я думал – сидит в сенях или дома в тепле или забыла про меня, чёрная злая дура. И что я ей дался?

На этот раз я останавливаюсь. Я хоть и боюсь её, но теперь мне ещё и очень обидно: что она придирается? Я стою и смотрю, как она, загнув хвост, приближается ко мне.

– Что тебе надо? – спрашиваю и гляжу на её чёрную, с жёлтыми подпалинами морду.

Она перемахивает через снежную канаву и встаёт посреди дороги носом ко мне. Как волк!.. И надо же было снова *тут* пойти! Ведь я уже другой дорогой ходил на почту, в обход.



– Я тебе что-нибудь плохое сделал? – говорю ей и смотрю прямо в её глаза.

А она вдруг садится, задирает голову и судорожно открывает рот. Будто и вправду захотелось зевнуть.

– Скажи, сделал? – повторяю я, хотя, конечно, понимаю, что она ничего сказать не может. Но я нарочно говорю с ней, как с человеком: они иногда понимают. – Не сделал, – отвечаю сам за неё. Я уже чуть-чуть смелею, потому что она сидит и не трогает меня. – Ну, так и ступай себе. Слышишь?

Она кивает и глядит на меня умными глазами. И правда –

понимает. Жалко, что у меня нет с собой хлеба, мы бы тогда совсем поладили.

– Я тебе потом принесу хлеба...

Взгляд у собаки становится внимательнее и острее.

– Честное слово!

Я делаю шаг в сторону – хочу обойти её, но она вскакивает на ноги и загораживает мне дорогу: не верит.

– Я же сказал «честное», – объясняю ей. – Пусти, пожалуйста!

Она мигает и отворачивается от моих глаз, но не уходит.

– Ну и дура! – разозлившись, говорю я.

Пусть кладёт на мои плечи свои лапы и шагает за мной.

Меня это нисколько не волнует!

Я прохожу мимо неё, а она – вот удивление-то! – начинает дружески повилывать хвостом. Вот чудо-то! А что, если я ещё раз остановлюсь и попробую погладить её? Что тогда?

Но я больше не останавливаюсь. Я и без того рад, что всё обошлось. И мне ясно почему: потому что я поговорил с ней по-человечески и пообещал хлеба. И я принесу ей после обеда хлеба, не обману.

Мне так становится легко, и я так смелею, что оборачиваюсь. А собака будто только этого и ждала: сорвалась с места и прыжками ко мне. И тогда, сам не знаю как, я бросился бежать. Я несусь к крыльцу школы, другой школы, где учится Ксения, и слышу позади себя мягкие скачки и лай, потом она обрушивается на меня сзади, и я лечу кувырком. И сра-

зу же раздаётся громкий визг и тонкий жалобный вой; я приподнимаюсь и вижу, что собака, поджав заднюю ногу и сильно переваливаясь, улепётывает к овинам, а на дороге стоит весёлый председатель из сельсовета, а в обледенелой канаве валяется здоровенная палка от городков.

– Нос-то цел? – посмеиваясь, спрашивает он. – Смотри, больше не бегай от собак. Никогда не бегай!

И, надвинув шапку на смеющиеся глаза и сунув руки в карманы полушубка, он шагает дальше – в кузницу или на скотный двор. А я, ничего не ответив ему, отряхиваюсь и иду туда, куда и шёл, – на почту.

Собаку мне жаль: она, может, просто хотела со мной поиграть по-своему, а он раз – и перешиб ногу. Как тогда летом: раз – и убил из ружья галку. Ему бы только всех бить...

У меня что-то испортилось настроение, даже на почту идти расхотелось. Тогда, пожалуй, я загляну в тот с заколоченными окнами дом, рядом с сельсоветом. Я пересекаю улицу и останавливаюсь возле обледенелого крыльца. Мне страшновато туда заглядывать, потому что там вор.

Я всё-таки поднимаюсь на крыльцо, потом – в длинные холодные сени, а он справа заперт. Мне жутковато, что он сидит за стеной, и его не слышно. Что он там делает? Там темно и тихо; я на цыпочках подбираюсь к двери с тяжёлым замком и слушаю. Вот от этого и страшновато – что ничего не слышно и что он там закрыт в темноте. А вдруг он сейчас выскочит и топором меня?

Я на цыпочках бегу обратно, а сельсоветский сторож бранится. Они его, этого вора, повезут в Вожегу, его милиционер повезёт, но я не хочу на это смотреть. Мне как-то неприятно: я воров побаиваюсь. Они летом два раза папины огурцы воровали, ночью, и истоптали люпин – думали, что горох. Они все бледные, серые, потому что не спят ночью, – я себе их так представляю. И этот вор тоже, наверно, серый: он ночью жмых хотел украсть со склада кооператива, но залаяла собака, и его схватили. Я теперь пойду в избе-читальню, посижу на скамейке и подумаю обо всём этом.

Зима красивая. Деревья – будто огромные одуванчики; всё белое и скрипит. И дым из труб хорошо виден: утром он голубой или розовый, а вечером синий, а когда уже звёзды, то чёрный и кажется, что это ведьма вылетает на помеле. Мне только не нравится, когда очень сильный мороз: тогда собаки бездомные околевают, а воробьи коченеют и падают, как камушки. И не успеешь оттереть нос, как хватает за подбородок или за щёку. Я зимой больше люблю лето, а летом – зиму. Я тру рукавицей нос, но за подбородок пока не хватает: сегодня мороз не такой сильный.

И кругом разные звуки: то поскрипывание, когда идут по дороге, то снег начинает петь, когда его топчут на тропе, то треснет где-то бревно, то провизжат полозья на повороте.

Я иду к избе-читальне и думаю про свою собаку и про вора. Ведь это, конечно, она залаяла ночью склад-то недалеко от почты, а она всегда около почты бегаёт. Как же это неспра-

ведливо, что председатель ей ногу перешиб!

Я выхожу, задумавшись, на середину дороги и совсем не замечаю лошади. Я едва успеваю отскочить – она с топотом пронесется мимо, окатив меня ледяным ветром, а дядька из саней на меня кнутом, да ещё нехорошим словом, что я так зазевался. И следом вторая лошадь, а в розвальнях женщины громко смеются. Одна привстала и кричит мне:

– Парнёк, догоняй, мы тебе скусного дадим!

И валится с хохотом на солому в ноги к другой женщине.

Они пьяные. Это очень неприятно, когда пьяные женщины. Когда мужики пьяные, то они только поют и крепко пляшут или целуются, а если ломают жерди и дерутся, так ведь они на то и мужики. А когда женщины – это непонятно и ужасно как-то нехорошо. И ещё неприятно, что второй уже день празднуют Рождество: видно, пока не подействовало на них наше представление.

Я вот что решил: раз так всё получилось, я зайду в кооператив и куплю пряник. Для собаки. Я чувствую себя тоже виноватым – вот и дам ей пряник: у меня есть три копейки.

И я сворачиваю на поющую тропу к заиндевелым дверям, от которых сегодня очень пахнет водкой, холодновато так...

## **Как мы с Ксеньей болели**

Я придумал для Ксени ласковое имя: «Кенарочка». Дуня смеётся: «Кака така Кенарочка?» – А Ксене оно нравится.

Мы с ней тоже смеёмся над Дуней, потому что она немножко хвастунья. Она каждое утро заглядывает в растопленную печь и сама себя хвалит: «Ай да Дунька, всё у Дуньки кипит: картошка кипит, суп кипит!» Лицо её от огня делается красным, светленькие глаза сощуриваются и смеются: довольна, что всё у неё кипит! Она очень хорошая, Дуня, только она конфузится, когда папа называет её Авдотьей Максимовной. А почему конфузится: ведь ей уже тридцать четыре года, ведь она не девочка?

Она опять живёт с нами. Папа и мама уехали в Вологду. Ира занимается с неграмотными (называется «ликбез»), а мы с Ксеньей сами не умеем обрядаться. Вот опять и позвали Дуню. А нам с ней хорошо!

У нас теперь зимние каникулы. Тихо так стало в школе и непривычно: ни звонков, ни шума, ни физкультурного кружка.

В сумерки я часто лежу с Дуней на печке, она рассказывает мне сказки и поёт нескладухи:

Вы послушайте, робята,  
Нескладуху вам спою.  
Вор-воробышек летает —  
То мальчишечка шалит.

Уж верно – нескладуха! Ни склада, ни лада. Я больше частушки люблю. Дуня меня такой научила:

Ягодиночка на льдиночке,  
А я на берегу.  
А перекинь, дружок, тесиночку,  
К тебе перебегу.

Но всего лучше, когда она рассказывает про домового и про старого-престарого «старицька», который в Куровском бору пугает девушек.

Она когда рассказывает это или про старинных людей, то я сразу вспоминаю князя Шуйского. Дуня говорит, что он не Шуйский, а Комкин, живописец-богомаз из Перепечихи, она с ним знакома.

Сейчас, дожидаясь Дуни, я растянулся на печке и смотрю в потолок.

– Юр, будет тебе бока греть! – ноет Ксения. – Погляди, Люба с Володей какую бабу скатали.

Она дома скучает, Кенарочка, она не любит лежать на печке.

– Ладно, так уж и быть, – отвечаю ей. Я теперь с ней очень дружу, пока папы и мамы нет.

Достав из-за трубы горячие валенки, я спускаюсь на пол, надеваю свою шубку со сборками и жду, когда Ксения обмотается платком.

– Мотрите, недолго, не простыньте! – напутствует нас Дуня.

Чудачка она! Разве можно простыть, когда на дворе так тепло, что даже с крыши капает? Мы бежим к снежной ба-

бе, которую лепят Люба и Володя, и начинаем помогать им. Жаль только, что нет морковки, а то какой бы чудесный нос получился!

– Юра, глупости делаешь, – говорит Люба. – Зачем ты ей в уши палки суёшь?

У меня в последнее время испортились отношения с Любой: она всё хочет, чтобы ей подчинялись, а я этого не хочу. С какой стати!

– Она будет доктор, Люба, – говорю я. – Пусть она будет доктор, ладно?

– Она снежная баба, а не доктор.

– А мне хочется, чтобы доктор!

– Сделай себе другую, и пусть она будет, кем ты хочешь.

Пока я думаю, что ответить, в окнах зажигается свет, потом слышится строгий голос Любиной мамы, Лидии Николаевны.

Вот и хорошо, что она зовёт своих ребят домой, – тогда уж я сотворю из их бабы что-нибудь интересное.

Люба и Володя, отряхиваясь, бегут к крыльцу, а Ксения хватает меня за руки.

– Не надо, Юр, палкой, это нечестно.

– Ну, тогда я из тебя сделаю снежную бабу!

Мы с Ксеньей боремся, хохочем, катаемся в снегу – так здорово! – а сверху из окон падает жёлтенький свет, и мы знаем, что дома нас ждёт Дуня, горячий самовар и некому нас поругать.

– Вот теперь ты снежная баба, Кенарочка! – кричу я.

– А ты дед-мороз, – хохочет Ксения.

И мы снова катаемся в снегу, и даже когда он попадает за шиворот – всё равно очень приятно и весело.

Мы очень довольные возвращаемся домой. Правда, Дуня нас тотчас выпроводила, чтобы получше отряхнулись, и потом поворчала, но это не испортило нам настроения. Мы даже не захотели пить чай, а ещё повозились, и Ксения предложила идти спать, чтобы поскорее настало утро.

Утро пришло, но какое-то странное. Ира будит меня, а я не могу поднять головы. Ира дотрагивается холодной ладонью до моего лба и вдруг отдёргивает руку, словно обожглась, и вскрикивает, и бежит к Ксене, которая тоже ещё в постели, и там Ира вскрикивает.

– Дуня, у них жар! – кричит Ира.

Я щупаю свой лоб, но никакого жара не чувствую. У меня только очень тяжёлая голова, и мне неохота вставать.

– Дуня, как же так? Ведь у них сильный жар!

Я поворачиваюсь и вижу в открытой двери растерянное лицо Дуни. Вот тебе и складуха-нескладуха! Наверное, мы с Кенарочкой заболели.

Ира просит Дуню не выпускать нас из постели, одевается и бежит куда-то. Я слышу, как часто стучат её каблуки по лестнице.

Через некоторое время я вновь просыпаюсь – я даже не заметил, как опять уснул, – вновь от Ириного голоса и ещё

от одного, мужского. Потом в папин кабинет, где мы с Ксеньей лежим, входит высокий дядя в белом, и я узнаю в нём того доктора, с которым встречался летом в больничном саду, – я его по голой длинной голове узнаю. Я сразу испугался.

Я смотрю на Ксению, на её разметавшиеся по подушке волосы, и мне Ксению жалко; на Ирино испуганное лицо смотрю, и Иру мне жалко; и самого себя жалко. Что же с нами будет теперь?

Вот они уже загнули мою рубашку и прикладывают прохладную трубку и велят дышать, а мне дышать больно: колет в боку. И в горло ложечку перед этим сунули, я чуть не подавился.

– Воспаление лёгких, – говорит доктор.

– Воспаление лёгких, – повторяет он, когда то же самое проделал над Ксеньей.

Вот тебе и снежная баба, вот тебе и Кенарочка! А ведь так хорошо было вчера, такое веселье, и этот жёлтенький свет, падавший из окна, – он так и стоит перед моими глазами...

И опять жёлтый свет. Полночь. Посреди потолка – жёлтый круг, а дальше он всё слабее и слабее, будто золотые иголки понатыканы, а в углах темно. Это от лампы с прикрученным фитилём. Я поворачиваюсь к Ксене – она тоже приоткрывает глаза, смотрю на Иру – у неё глаза закрылись, и она всхрапывает. Вот счастье-то!

Я ещё раз, для верности, взглядываю на Иру. Она сидит на троне, – вообще-то она сидит в папином кресле, придви-

нутом к нашей кровати, но сейчас мне кажется, что на троне. Она, бедная, намаялась с нами за день и уснула, точно – уснула.

Я переглядываюсь с Ксеньей, и мы тихонько сдвигаем с себя одеяла. Их, наверно, штук пять, да ещё сверху папин тулуп. Мы лежим рядышком, мокрые как мыши. Мы обмотаны компрессами и затянуты крест-накрест тёплыми платками. Мы так ужасно вспотели, что нельзя терпеть.

– Побольше, побольше, – шепчет Ксения, чтобы я побольше её открыл, и Ира пробуждается от её шёпота.

Ира, как коршун, бросается на нас, снова натягивает все одеяла и начинает плакать. Не понарошку, а всерьёз. Ира – и вдруг... плакать! Это так необычно, что мы с Ксеньей мгновенно утихаем.

– Что же вы, свинтусы, делаете? – дрожащим голосом спрашивает Ира. – Вы что – умереть хотите, бессовестные?

И слёзы у неё текут по щекам. Мне до того становится её жалко, Ирочку, что она, как маленькая, плачет, до того жалко, что я обещаю ей никогда больше не открываться.

А она ещё долго хлюпает своим узеньким носом и подозрительно глядит на нас. Она нарочно положила на кресло две толстые книги, чтобы сидеть повыше и лучше видеть, сидит на своём троне и подозрительно глядит на нас мокрыми глазами.

А потом скоро её веки опять слипаются, и мы с Ксеньей опять тихонечко, совсем немножко, сдвигаем одеяла. И сно-

ва плачет, как девочка, Ира и называет нас бессовестными поросятами и укутывает ещё жарче.

И так почти всю ночь.

Я уж после и одеяла сдвигаю только для того, чтобы она поплакала. Очень приятно почему-то, что она сейчас не боевая комсомолка, не учительница, а просто сестра, девочка, которая нас очень любит.

## **Папа и мама**

Теперь я расскажу про папу и маму. Мне было вчера так неловко это видеть! Мама сидела в постели, плакала и всё говорила, что она двадцать семь лет для папы была хорошая и умная, а теперь вдруг поглупела, а папа стоял на коленях, целовал у неё руку и просил прощения – я это видел из его кабинета. Я проснулся, потому что услышал, как мама громко плачет и говорит, что она двадцать семь лет была хорошая. Они думали, что я сплю – когда мы с Ксенькой поправились, я стал дольше спать, – а я проснулся и увидел. Раньше я ни разу такого не видел. Это было так... так неловко!

Я уверен, что во всём виновата Петровна. Как только в селе праздники – Рождество, масленица или ещё что-нибудь, Петровна – глупая какая-то! – каждый раз выражается и приходит спрашивать у мамы, хорошо ли. Папе это всегда не нравилось. Она прошлый год на Троицын день пришла к нам в шляпе с разноцветными перьями, а мама улыбнулась

и сказала, что ей к лицу. А папа потом спросил маму: «Зачем?» А мама ответила: «Пусть себе, если ей нравится». Эту шляпу Петровне подарила ещё до революции купчиха Гладцинова, а Петровна столько лет берегла её подарок в сундуке! А позавчера Петровна явилась накрашенная и в белых перчатках.

Ксенька как увидела её, сразу схватилась за живот. А мне так ни капельки не смешно. На ногах валенки, на руках перчатки из тонкой кожи, и щёки намазаны – ведь это чучело какое-то! Зачем? А мама своё: «Пусть потешится». Я согласен с папой, что это нехорошо. Он молча ушёл в кабинет и долго работал. Ладно ещё – не вспылел.

Наш папа вспыльчивый. Он сегодня после уроков сунул мою голову к себе в колени и отодрал меня ремнём. Из-за Ксеньки. Из-за того, что я её опять бил в грудь. Мне до того стало обидно, что я снова побежал в лес, а он побежал за мной, и мы бежали по снегу – я впереди, а он сзади... Ведь это он, папа, выпорол меня! Пусть бы Серёга, или Ирина, или даже мама – я бы ни за что не заревел. Но – папа! Это было невыносимо. Мне хотелось провалиться в какую-нибудь яму, или чтобы меня немедленно разорвали волки, или чтобы тут же умер – пусть бы он тогда почувствовал! И папа, надо сказать, почувствовал: когда он меня поймал и понёс на руках домой, у него под очками блестели слёзы, а потом в своём кабинете он дал слово никогда не наказывать меня ремнём и подарил мне записную книжку.

Он очень отходчивый, папа: вспылит и сразу отойдёт и снова добрый. Как и я, мама говорила.

А мама не такая. Она не вспыльчивая. Она терпеливая, но тоже может рассердиться. Мне от неё тоже один раз попало. И тоже из-за Ксеньки, что я её бил в грудь, – это было ещё до того, как папа с мамой уезжали в Вологду. Мама стирала, а Ксенька вертелась на кухне, пекла себе оладьи: взяла мучки, сметанки, сахару, замесила и пекла на плите. Я попросил у неё, а она дразнится и не даёт. Значит – разве я виноват, что мы подрались? И почему это именно в грудь её нельзя бить? Ну и что же, что она подрастающая девочка? Она противная и вредная, и ей можно вкусненькое, а мне нет? Это справедливо? И я опять её стукнул, хотя мама меня и предупредила, и тогда мама стукнула меня самого по голове донышком ковша.

По голове и ковшом! Это было что-то такое ужасное, что я, едва сдерживая слёзы, ушёл в другую комнату, спрятался за фикус и начал колотить себя кулаком в нос. И хоть было очень больно, я добился своего: из носа потекла кровь, и я помазал ей затылок. Пусть она теперь полюбуется, что натворила своим ковшом! Я лёг лицом вниз на диван и громко застонал.

Ксенька перепугалась, заревела и стала совать мне оладьи, а мама только сперва испугалась, а потом поворошила мои волосы и ушла стирать. Может, она подумала, что я краской измазался?..

Они в чём-то похожи, а в чём-то не похожи, папа и мама. Я люблю их одинаково, только папу чуть побольше. Когда меня спрашивают, кого я больше люблю, я отвечаю: одинаково. А сам понимаю: не одинаково. Когда мне хочется, чтобы меня пожалели, я бегу к маме, и когда у меня болит живот или вдруг захочется есть – к маме, и мне с ней легко. А когда надо что-нибудь спросить – обязательно к папе, и, если колено расшибу до крови – тоже к папе, он всё знает, и я его не могу обманывать. А маму иногда могу...

Сейчас мы уже все помирились, напились чаю, сидим за большим столом и слушаем, как читает папа. Даже Ира сидит.

На столе лампа с зелёным абажуром, папа держит одной рукой книгу, другой рукой – очки, а в глазах его усмешечка.

– «Том!

Ответа нет.

– Том!» —

читает папа, а мама улыбается. Папа читает выразительно, но мне это не очень нравится. Я такие книги люблю сам читать, я тогда лучше представляю. И про этого Тома я потом сам прочту – подумаешь, убежал от своей тётки, герой! Я больше про войну люблю читать. Как их рубали. Вот там герои так герои!

Но я сижу тихо. Потому что все сидят тихо, даже Ира. Им нравится слушать.

– «Привязали бычка на верёвочку...» – читает папа.

А разве бычков привязывают на верёвочку? На верёвочку привязывают коз, а иногда коров, вобьют в землю колышек и привяжут к нему, а они ходят вокруг и щиплют траву. А когда наедятся, лягут, перевалив живот, и немного погодя начинают жевать жвачку. Глаза сонные, добрые; отрыгнут и пережёвывают неторопливо. Это коровы. А у коз глаза ехидные, у них зрачок не круглый, а поперечный, как палочка, и жуют они набок и быстро.

– А почему они набок жуют? – спрашиваю я.

– Кто? – останавливаясь, спрашивает папа. И все с удивлением смотрят на меня, даже Ира.

– Козы, – говорю я.

– Какие козы? – всё более удивляется папа.

– Ну, козы вообще, – объясняю ему.

Тогда папа кладёт книгу на стол, а Ксенька прыскает, а Ира за ней, а мама за Ирой, а потом папа, а потом и я заодно. Мы любим все вместе посмеяться. А абажур отбрасывает зелёный тёплый свет, и самовар на столе ещё тёплый и зелёный от абажура, и все они такие тёплые, зелёные – папа, мама, Ира, Ксенька, – и я их очень люблю, и мы все такие, такие счастливые!

## Он не умрёт

И вот моего папу несут на руках. Его несут какие-то хлопотливые мужички, несут на тулупе, топают намёрзшими ва-

ленками, деловито переговариваются. Его в поддёрвке, в шапке со съехавшим башлыком кладут на кожаный диван – неподвижного папу.

Забившись в угол кабинета, я с ужасом, с дрожью гляжу на то, как мама, Ира и доктор суетятся вокруг него, снимают башлык и шапку, подкладывают ему под голову подушку... Он живой? Если подушка – значит, живой? Он не умер?

– Мы-а... – вдруг раздаётся не то стон, не то плач.

– Женя, успокойся... Женечка... – говорит мама, и я чувствую, что она вся дрожит.

Доктор сердито гудит что-то себе под нос, выкладывает на стол пузырьки и склянки, а Ира, расплёскивая воду, ставит перед ним стакан, и руки её трясутся, и она опять бросается к неподвижному папе и помогает его раздевать.

– Ю а... – снова раздаётся как стон или плач.

– Юра, подойди к папе, – притворно-спокойным голосом говорит мама. – Всё хорошо будет, не волнуйся, всё хорошо, Женечка, – говорит она ему, притворяясь.

Значит, так надо. Надо, чтобы папа не волновался. Надо, чтобы он думал, что всё будет хорошо.

Сдерживая дрожь в коленях, я подхожу к папе и вижу его один полуприкрытый, а другой скорбный и немножко свирепый глаз. Я вижу его губы – они влажные и искривлены, – и мне страшно видеть его таким, моего весёлого, вспыльчивого, доброго папу.

Я улыбаюсь, потому что надо, чтобы он не волновался, на-

до, чтобы он думал, что всё будет хорошо, сейчас надо при-  
творяться, и я улыбаюсь. И я вижу всё время его скорбный  
и немножко свирепый глаз, который глядит на меня, вижу,  
как из уголка его выплывает и быстро скатывается в седую  
бороду слеза.

– Ну, а теперь иди, Юра, – говорит мама. – Мы мешаем  
доктору... Всё будет хорошо, Женя, – говорит она папе, –  
всё хорошо.

А сама внутри дрожит, я чувствую. И как-то суетится,  
стоя на месте. И Ира суетится, покусывая губы. И доктор  
сердито молчит, подходя со стаканом в руках к дивану.

Я тихонько выхожу из кабинета, кидаюсь к заплаканной  
Ксене, обнимаю её за шею и обещаю никогда, никогда боль-  
ше её не бить.

Лишь бы он не умер. Лишь бы он остался живой. Лишь бы  
он не умер, папа. Лишь бы он жил, наш милый, самый луч-  
ший, самый умный, самый добрый, чтобы он остался живой,  
наш папа!

Папу разбил паралич. Он там очень разволновался. Я это  
потом всё узнал. Он был на собрании агрономов и председа-  
телей в Вожеге, и там очень спорили. А папа никак не согла-  
шался. Лучше бы уж он согласился! У них телята стали по-  
дыхать, потому что неправильно кормили и на скотном дво-  
ре был холод и сквозняки, а некоторые работники говори-  
ли – мы не виноваты. А папа говорил – виноваты. Папа гово-  
рил – надо было слушать советы агрономов; надо было свое-

временно заготовить корма и починить дворы, а не пьянствовать, тогда телята не подыхали бы. А председатель из нашего сельсовета, когда услышал насчёт пьянства, сказал, что он, папа, оговаривает. А папа вспылил и сказал ему что-то такое, отчего все засмеялись. И тогда председатель разозлился и обозвал папу барином. На собрании поднялся шум, а папа уже ничего не мог ответить: его разбил паралич, и он упал. Это всё на другое утро рассказывал маме секретарь партячейки. Он пришёл к нам узнать, как чувствует себя папа, и очень его хвалил, а председателя из сельсовета назвал загибщиком и пьяницей, которого скоро уволят.

Мама слушала секретаря и плакала, а потом стала умыться, чтобы не было заметно...

И сейчас всё приходят и приходят к нам узнавать. И учителя, и дяди-мужики, и учащиеся, и женщины. И доктор опять был и сказал, что у папы крепкое сердце. Я немного повеселел, что у папы крепкое сердце, отрезал себе хлеба и пошёл на улицу.

Я сейчас к собаке иду. Я её буду каждый день кормить хлебом, пока папа не поправится. И потом буду её кормить всегда. Лишь бы он поправился. Он должен поправиться, потому что у него крепкое сердце, доктор сказал. Этот доктор хороший, и я привык к его длинной голове.

Снег на дороге желтоватый и рыхлый. Жерди уже обтаяли и чёрные.

А лесок туманный, и небо невысокое и туманное, и галки

громко кричат. Они весну чувт.

И на кузнице чувт весну, там тепер с утра до ночи звон-перезвон: чинят плуги и бороны.

Я останавливаюсь напротив дома с высоким тесовым крыльцом, где живёт собака, и слышу, как из школы доносится звонок.

Я немножко подожду, когда они все пройдут, и опять вернусь сюда.

Собака что-то не выскакивает, но я её дождусь. Я пока захожу за кузницу.

Она похожа на баню с каменкой, наша кузница. Она вся чёрная, а внутри – горка огня, и там лежит горячее светлое железо. Когда его бьют, оно легко мнётся, и с него что-то сыпается. Его иногда бьют двумя молотами по очереди, а под конец – одним и поворачивают длинными щипцами, а потом опускают в бочку с водой, и из бочки с шипением вылетает пар. Мы все кузнецы своего счастья, а не только они. Это папа сказал. Лишь бы он поправился.

Я слышу голоса ребят, которые проходят мимо по дороге. Я не хочу, чтобы они меня спрашивали, как он себя чувствует, я не хочу смотреть на их жалостные глаза. Он всё равно поправится.

Я снова выхожу на дорогу поближе к высокому крыльцу, но собаки нет. Но он всё равно поправится. Если я дождусь собаки, то он обязательно поправится. Тогда я её дождусь обязательно.

А собаки всё нет.

По дороге ковыляет Серёга.

– Правда, твой отец помер? – Он меня спрашивает грубо и подтягивает ногу.

– Не помер и не помрёт, – говорю я. – У него крепкое сердце, доктор сказал.

– Побожись, – с угрозой говорит Серёга.

– Вот! – Я снимаю шапку и дотрагиваюсь пальцами до лба.

– Айда, – говорит Серёга и ведёт меня снова за кузницу. Он роется в своей полотняной школьной сумке и достаёт со дна облепленный хлебными крошками кусок сахара.

– Бери!

Я засовываю сахар за щёку, а Серёга вынимает мятую пачку папирос и протягивает её надорванным концом мне.

– Покури с сахаром, полегчает... Или ладно, не кури. Мал ещё.

Он суёт себе в белые зубы папироску, а глаза у него, я вижу, серые и совсем, совсем не злые.

И я опять уйду на дорогу ждать свою собаку.

# Талая земля

*Как на талую на землю  
Выпала пороша.  
Что по этой по пороше  
Шёл мальчик хороший...*

*Из игровой песни.*

# Семь лет спустя

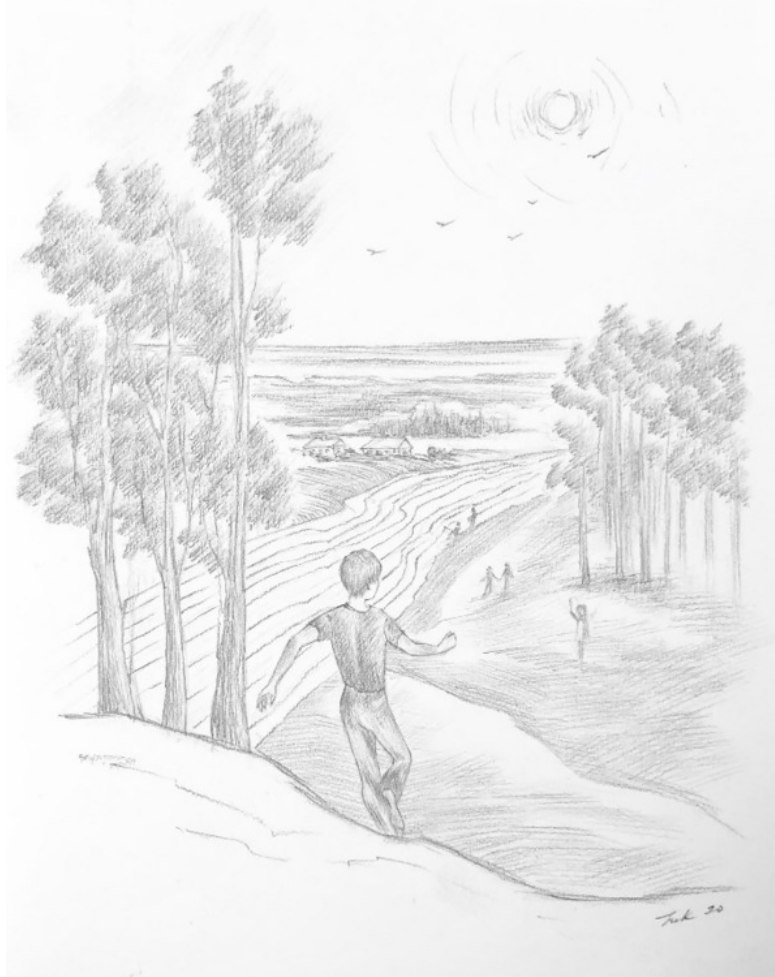
Мы теперь живём на небольшой железнодорожной станции Явенга в восемнадцати километрах от Троицы – вверх по Кубене.

Папа, как и прежде, учительствует, мама дома. Ира тоже учительствует, только очень далеко – под Псковом. И Ксения учительствует: после семилетки она поступила на заочное отделение Вологодского педучилища и преподаёт в младших классах в отдалённом селении. И остались мы втроём – папа, мама и я.

К Явенге я долго не мог привыкнуть. Она вся какая-то чересчур пёстрая: тут и станция, и колхоз, и клёпочный завод, и лесопункт. И народ пёстрый: местные жители перемешаны с приезжими. И дома пёстрые: избушки, бараки и лишь изредка настоящие крестьянские избы. То ли дело Троица,

там хоромы по сравнению со здешними поселковыми хибарками! Мне первое время особенно приезжие, несеверяне, не нравились. Они все или «балакают» – говорят: «бачишь», «шукаешь», или «акают»: «карова», «калхоз»...

К этому я до сих пор не могу привыкнуть. Так и хочется передразнить. Я как-то передразнил одного, а он посмотрел на меня печально и сказал, что мои родители, наверно, очень плохие люди. Вот тебе и на!..



Вообще это больной вопрос. Для своих родителей я крест тяжкий, сам знаю. Вот уже шесть лет, с той поры, как начал учиться, одни огорчения и неприятности им из-за меня. Вплоть до того, что дважды исключали из школы... А сколько разбитых носов, порванных рубах, жалоб, предупреждений? Никогда не думал, что буду таким! Все родные и близкие знакомые удивляются – в кого? Откуда мне знать, в кого? Я однажды попытался выяснить – пошёл в лесной табор к цыганам, сел у костра и сижу смотрю, как старухи пекут лепёшки, а они ничего: и не гонят, и своим не признают. Это было в Троице в ту весну, когда меня исключили из третьего класса как неисправимого. Я тогда уехал к сестре Лёле в город Грязовец, жил у неё с месяц, и там ребята сочинили про меня такую песенку:

Эх, бритая башка,  
Не боится камешка!

Я их правда не боялся. Они на меня с камнями, а я на них с палкой – всегда убегали.

Но это всё в прошлом.

Теперь у меня есть такое дело (вернее, такая цель), что мне не до озорства.

Да и возраст не тот: четырнадцатый год уже, осенью пойду в седьмой класс!

## Друзья-приятели

Вспомнил про школу, и потянуло меня на солнышко, на простор. Пока, дружок-дневничок!

Я прячу в укромное место толстую тетрадь, в которую записываю разные мысли и наблюдения, и выбираюсь из чердака дома на плоскую тесовую крышу сарая – на «палубу». Погода подходящая: умеренно жарко, по небу плывут перистые облака. Пахнет картофельной ботвой – к вечеру, видимо, натянет дождь. Спускаюсь по бревенчатому углу на землю, прыгаю на турник. Подтягиваюсь: раз, два, три, четыре. Для разминки достаточно. Пройдёмся на руках... Порядок! А теперь к Ваньке и на Кубену, там, может быть, увижу Ни-ну...

До чего же хорошо жить на свете! Я чувствую, как по моим жилам течёт горячая кровь, а самого себя не чувствую – я будто перистое облачко. Упершись о перекладину, перемахваю через забор и шагаю дальше и дышу, а на сердце так легко, так всё замечательно!

Ванька-трудяга окучивает картошку. Тяп, тяп... – мотыга играет в его длинных загорелых руках. Он мой приятель и одноклассник и, кроме того, сосед.

– Труд на пользу, мужик. Пошли купаться, – говорю я Ваньке.

– Работать надо. – Ванька не подымает стриженной головы

и всё тыпает.

– Отдыхать-то тоже надо, чудак человек!

– Мать запретит.

– А много тебе ещё?

– Да с часок займёт.

– Ладно, приходи, как кончишь...

– В футбол будем играть, – бормочет Ванька.

В футбол он играет здорово, особенно бьёт с левухи. Он крайний правый, я левый. У меня тот недостаток, что я часто зарываюсь и попадаю в офсайд. Ванька со своей осмотрительностью никогда не попадает...

На Кубену иду посёлком по извилистой песчаной дороге. На буграх и возле домов сосны, узловатые, кряжистые. Ноги по щиколотки вязнут в тёплом песке.

– Эй, Мартышка, покажи номер! – кричу я знакомому пареньку, который сидит верхом на невысоком заборе.

Он строит рожу, скаля мелкие острые зубы.

– А ещё?

Он опять показывает. Растянул рот, сморщил нос и трясёт, как припадочный, головой.

– Прочти стишок, – прошу я.

Парнишка рад-радехонек. Его хлебом не корми – дай ему только продемонстрировать своё искусство.

Кикирики, петушок,  
Золотой гребешок,

На полочке сидел,  
Трои лапти сплёл,  
Коточик потерял,  
Денежку нашёл,  
Молодичку купил.  
Молодичка-то добра,  
Рукавички связала,  
Ба-ра-но-вы-е!

И как у него язык так ловко мелет! И плечами ещё подёргивает, и подскакивает на заборе – и впрямь петушок какой сказочный.

– Спишешь?

– Двадцать копеек, – требует он.

– Ладно, – говорю я, – за мной не пропадёт.

Иду дальше и на повороте встречаюсь с одноклассником Стёпкой. Этот тоже забавный, я его тоже люблю.

Во-первых, он немножко косолапый. Загребает ногами как медведь. Во-вторых, он на голову выше меня и в полтора раза толще да и по годам старше, но робкий. В-третьих, у Стёпки водятся рубли или конфеты – он сын продавца ОРСа. И самое примечательное: говорит – не «лучше», а «лучше».

Сейчас я заставлю его сказать это.

– Стёпушка, друг, поворачивай, пошли на Кубену.

Он вместо ответа проводит рукой по ёршику волос и показывает капли воды на пальцах.

– Тёплая?

– Угу, – и шмыгает носом.

– Нины случайно на реке не видел?

Он молча мотает головой: нет, мол. Чувствует, что готовлю ему подвох! Но я его перехитрю.

– Нет, значит? А Тamarочки моей любезной?

Он подозрительно вперяется в меня маленькими глазами: к Тамаре он сильно равнодушен. Теперь он уже не думает о подвохе, только шумно сопит и пытливо смотрит на меня.

– Слушай, Стёпа, скажи откровенно, по-товарищески, с кем мне лучше дружить?

– Луште с Нинкой, – выпаливает он.

Что и требовалось доказать!

– Эх ты, «луште», Стёпа-недотёпа! – смеюсь я и продолжаю свой путь.

Ещё не доходя до нашей, мужской, купальни, вижу на берегу Нининого брата Серёжу. Он уткнулся лицом в свёрток одежды, спит блаженно. На августовском солнце не обгорюшь, спи хоть целый день. Его широкая бурая спина с острыми плитами лопаток плавно вздымается и опускается.

Я неслышно подкрадываюсь к Серёжке и резко шлёпаю его пониже спины. Пока он поворачивается, очумело крутя головой, я прячусь за корявую иву у самой кромки обрыва посреди высокой травы и кустов.

– А, это ты, дьявол рогатый! – рычит Серёжка. – Давай выходи!..

Другому бы эта шутка не прошла даром – Серёжка умеет расправляться, – но мне он ничего не сделает: я ему не подчиняюсь.

– Башка трещит, – больше для фасона жалуется Серёжка. – Пивка бы сейчас не худо...

– А что? Можно! – говорю я, чтобы подзадорить его. Он оживляется.

– Есть гроши? – И чёрные глаза его яснее и добрее. Он смуглый, черноволосый, белки глаз с лёгкой желтизной. Вот уж кто настоящий цыган!

– Одолжишь? – спрашивает он.

– А?

– Серьёзно, дай троячок взаймы.

– Когда мне говорят «дай», я не слышу.

– На, – говорит Серёжка и протягивает мне свою пятерню.

– Ладно, зайдёшь ко мне домой – одолжу.

Я недавно продал фотоаппарат собственного изготовления, и у меня теперь целых двенадцать рублей своих денег.

Я подаю Серёжке руку – он поднимается, – и мы прыгаем с крутого берега в воду.

Ребята говорят, что я плаваю, как чёрт. Не знаю, как плавают черти – ни разу не видел, – но про себя могу сказать, что с водой дружу: на реке вырос.

– На остров? – фыркая, спрашивает Серёжка.

– Поплыли.

Мы выходим на стремнину, и течение живо подносит нас

к песчаному, сплошь заросшему ивняком островку, за которым расположена женская купальня.

– Есть там кто-нибудь? – шепчу я. – Не видно?

Серёжка уже притаился в кустах и замер. Я тоже лезу в кусты.

Один конец островка почти вплотную подходит к берегу. Там в мелком проливчике с тёплой водой – тростник, на берегу полоса кустарника.

Две девочки-малолетки, стоя по пояс в воде, брызгаются и визжат.

– Мелюзга! – пренебрежительно шепчет Серёжка. – Таких и пугать неохота.

– Нина там?

– А вон на берегу. Спускается к воде...

Я круто поворачиваю вспять. Я плыву обратно против течения, а Серёжка, помедлив, пересекает проливчик вброд и выбирается на наше место – к старой плакучей иве. Мы ещё минут пятнадцать ныряем, кувыркаемся, достаём из ому-та земли – комки холодного липкого ила. Затем, накинув на спину футболки отдыхаем на берегу – Серёжка лежит на спине, а я гляжу в ту сторону, откуда после купания должна показаться Нина.

Я уже волнуюсь сам не знаю чего. Я всегда дураком делаюсь, когда её вижу и особенно когда разговариваю с ней. Просто мука одна: я иногда даже заранее придумываю, что ей сказать, но как начну говорить – или всё забуду, или пе-

репутая. И ничего не могу с собой поделатъ!

## Нина

– Ладно, пока! – бросаю Серёжке и встаю. Я уже в полной готовности: брючонки, футболка – всё на мне.

Она в белом платьице, босоногая, крепкая, идёт по берегу вдоль реки Явенги. Черноволосая, как брат, такая же смуглая, нет, не такая – посветлее, понежнее, гордая такая, пряменькая, идёт... Я зажмуриваюсь, а ноги сами уже несут меня вслед за ней.

А что я ей скажу? Я скажу: «Здравствуй, Нина». А потом что? Что потом? Что скажу после этого «Здравствуй, Нина»? Потом я ей ничего не скажу. Я скажу: «Здравствуй, Нина», – и больше ничего, наверно, трус презренный, опять не скажу.

Она оборачивается. Я вижу её лицо. Я смотрю и впитываю его в себя, пью, и не только глазами – всеми порами своей души, каждой клеточкой впитываю в себя и поглощаю её лицо.

– Ты что, на пожар? – как будто удивляется она.

В её карих глазах усмешка. Но не только усмешка: капелька смущения, капелька радости, капелька ожидания.

Ожидания – чего?

– На пожар, на огонь, ещё хуже, – бормочу я, болван несчастный: при чём тут «ещё хуже»?

– Так что же ты стоишь, коль на пожар? Беги! – Глаза

Нины смеются, и губы смеются, и зубы беленькие смеются. – Ну?

– Не могу...

– А что?

– Да так. Я бы тебя. одной рукой поднял...

– О-о! – Глаза Нины раскрываются шире, и в них притворная опаска и, кажется, опять немножко радости.

– Не веришь?

– Надорвёшься!

И хохочет, и смотрит на меня с любопытством.

Пусть хохочет. Пусть смотрит. Я чувствую, что у меня от волнения пересыхает во рту – сейчас я ей докажу. Но...

Всё как во сне. Откуда-то появляется Клара, дочь нашего преподавателя биологии, что-то рассказывает, посмеивается, блестя чистыми синими глазами.

И всё. Сказке конец.

– Приходите, девочки, в клуб, – справившись с собой, вежливо говорю я. – Вечером будут танцы.

– Спасибо, спасибо, – отвечает Клара и, обняв Нину за плечо, уводит от меня.

Оставшись один, я валюсь в густую траву. Теперь я буду переживать.

Я закрываю глаза и снова вижу её лицо. «Ты что, на пожар?» – спрашивает она. «Да», – с улыбкой говорю я, но не шлепоносый вихрастый мальчишка, как сейчас, а стройный юноша, в белых брюках, такой, какие шагали

на первомайском параде в картине «Цирк». «Так что же ты стоишь?..» – «Мне надо поговорить с тобой, Нина». И я, этот стройный юноша, подхватываю её под руку и веду в клуб или, лучше, не в клуб, а в садик к фонтану, как в том кино, где Вера и Николай сидели на скамейке, и он ещё объяснялся с ней... «О чём же ты хочешь поговорить со мной, Юра? Опять, конечно, о будущем?» – «Ты угадала. Дело в том, что я окончательно решил поступать в военно-морское лётное училище. Мне предстоит суровая жизнь: бури, штормы, возможно, бои... Согласна ли ты меня ждать, Нина?» – «Согласна», – просто отвечает она и смотрит на меня хорошими глазами, в которых капелька смущения, капелька радости, капелька ожидания.

Ожидания – чего?

Я рывком поворачиваюсь на спину. В высоком небе плывут облака, лёгкие, лёгкие, как пушинки, скользят по синеве, подсвеченные солнцем. Скоро я буду пронзать их своим быстрокрылым морским бомбардировщиком, суровый пилот, как Леваневский или Громов, а Нина будет следить с земли за моим полётом и ждать моего благополучного возвращения... Скоро ли?

Почему, когда думаешь о будущем, то каждый год представляется вечностью, а когда что-нибудь вспоминаешь, кажется, что было вчера? Нина с Серёжкой пришли к нам в пятый класс два года назад, а кажется – будто вчера. Я полюбил Нину не сразу, только когда стали учиться в шестом, тоже

около года уже минуло, а кажется – вчера. Я вообще ужасно влюбчивый.

Я ещё в первом классе влюбился в Розу, в дочку того доктора, с неправильной головой. Она и напоминала розу, цветок: розовенькая, полная, с сонными бледно-голубыми глазами. Чтобы ей понравиться, я несколько раз пробовал на уроках петь, и за это Александр Афанасьевич однажды выставил меня за дверь.

Ещё сильнее я влюбился в третьем классе в Лену. Я сперва в её лицо влюбился, потом – в её голос. Мне всё время хотелось на неё смотреть; я и на уроках смотрел и на переменах, а на переменах вдобавок слушал, как она говорит. Меня из-за этой любви и исключили, вернее, из-за того, что я принёс в школу садовый нож и резиновую трубку с гирей, чтобы поколотить Лёньку Ромашова. А зачем он заигрывал с ней?..

Теперь, конечно, это смешно, а тогда было не до смеха, как и сейчас – с Ниной. Когда я выучусь на морского лётчика, я обязательно увезу её туда, где буду служить...

Звонят кузнечики. Они не звонят, а стрекочут, и даже не стрекочут, а тиликают. Вообще такого слова нет, чтобы точно сказать, что они делают. Они, говорят, ножками это делают. Поделяют быстро, потом прыгнут, обождут немного и опять начинают. Это сверчки – стрекочут. У нас за печкой живёт один, но я никак не могу его поймать.

А в реке Явенге журчит вода. Она струится меж камней, поэтому и журчит. Можно бы поохотиться на налимов,

но нет с собой вилки. Другие как-то их руками ловят, нащупают в норе, погладят и под жабры – цап! («Под зебры», – говорит Стёпка). Я руками не умею. Только вилкой. Выслежу у берега возле какой-нибудь коряги, прицелюсь в усатую голову – и хлоп! Другой раз прямо в песок загоню, прикалываю ко дну намертво. У меня глазомер хороший, и силёнкой вроде не обижен. Я силу акробатикой развиваю.

Вот, кстати, и поупражняемся. Закинув руки за голову, сгибаю ноги в коленях, отжимаюсь от земли и – раз! Получился мостик. Теперь побольше прогиб, руками подбираюсь почти к самым пяткам и – два! Ноги махом идут вверх, описывая дугу, я касаюсь ими земли. И встаю с лёгким подскоком.

Это Ире спасибо. Она привила мне любовь к физкультуре. Я сейчас учусь делать сальто. Всё это лето отрабатываю элементы. С короткого разбега, с кочки – прыг, голова вниз, ноги вокруг, и приземляюсь. Правда, вначале я больше на голову приземлялся – едва шею себе не сломал; затем – на спину, а в последнее время всё чаще опускаюсь на ноги.

Сила и ловкость мне нужны. Без них я никогда не достигну своей цели и не стану морским лётчиком. Да и теперь нужны. Иначе слишком многим придётся подчиняться. А пока мне подчиняются: я один из главарей среди ребят – своих сверстников в Явенге.

## Поход в столовую

Ваньки не видно, наверно, ещё не кончил окучивать или пошёл не на Кубену, а на Явенгу, к железнодорожному мосту. Он там предпочитает купаться. Уж эти мне железнодорожники!

И Серёжки не видно, должно быть, проголодался и умотал домой... Пойду-ка я к папе, узнаю, который час, и заодно, может, клубнички поем.

Я иду к одноэтажному под железной крышей зданию сельсовета, оттуда сворачиваю на пришкольный участок. Папа в кепке, в выгоревшей полосатой рубашке с закатанными рукавами склонился над томатным кустом, подвязывает стельку к деревянному колышку.

Этих колышков уйма, сотни две, и к каждому аккуратно прикреплен верёвочкой куст, а на кустах среди узорчатой зелени – тяжёлые оранжево-красные помидоры, такие гладкие, налитые, что кажется, дотронься, и лопнут. Есть и не оранжевые, а жёлтые – это особый сорт, они похожи на лимоны, только кожица без пупырышков. Есть и просто зелёные, ещё созревают.

И всё на участке так распланировано, так чисто! У каждой гряды – дощечка, на которой рукой папы написано, что он тут посеял, когда и род удобрений.

Папа заметил меня, разогнул спину и улыбается. Какой же

он стал старенький, папа! Борода совсем белая, и столько морщин на обожжённом солнцем лице... Я бегу к нему по борозде, а он мне грозит, чтобы я нечаянно не наступил на растения.

– Ну, воздушный извозчик, что тебя здесь интересует?

– Клубника, – говорю я.

– Только и всего? – Папа, я чувствую, разочарован. – А ты поливал клубнику?

Я ничего не поливал, и папе это известно. Ему помогает на участке мать Тамары – Антонина Николаевна. Она вместе с папой и поливает, и окучивает, и сорняки выдёргивает. Но ведь она за это зарплату получает!

Вот такой он всегда, наш отец. Ничего для себя и своей семьи, хоть и работает от зари до зари целое лето и отпуском не пользуется. А когда придёт осень и снимут урожай, будет наравне со всеми платить за картофель и овощи, которые распределяют между учителями.

Папа наблюдает за мной, потом, смягчившись, протягивает мне руку, но я отворачиваюсь. Мне уже не хочется клубники. У меня есть сила воли.

– Который час? – спрашиваю я. – А то мне, наверно, пора за обедом.

Папа достаёт из кармана старинные, с открывающейся крышечкой часы и говорит, что ещё не пора; в моём распоряжении сорок с лишним минут.

– Так я пойду лучше не торопясь.

И я иду обратно.

– Юра, вернись, – говорит папа.

Нет уж, ни за что не вернусь! Не надо было сразу оговаривать. Я, наоборот, припускаю бегом...

Вот в этом всё дело. Вот почему я коплю силу и закаляюсь в драках. Мы бедные, а бедные потому, что у папы такой характер. Он всегда только из одного своего жалованья и нас кормил, и Ире, когда она училась в институте, посылал. Ира, девушка-невеста, носила парусиновые туфли, а папа с мамой страдали, но не могли купить хороших.

И в столовую за обедом поэтому я хожу. Мама считает, что брать из столовой дешевле. А люди удивляются и говорят, что за папины труды нас надо бы на круглый год обеспечить бесплатной картошкой и молоком от школьных коров. Да и директор Михаил Иванович не раз это предлагал, но папа отказался...

Когда полчаса спустя, вооружённый кастрюлей и алюминиевой миской, я вышагиваю обычным своим путём по узко-колейной ветке в рабочую столовую базы, мне уже не хочется осуждать папу. Я стараюсь вообразить, как вырасту и куплю ему пишущую машинку и микроскоп взамен тех, которые пришлось продать в Троице во время его болезни. А маме куплю обручальное кольцо, такое же, какое она сдала в торгсин несколько лет тому назад. А Ире, хоть она теперь замужем, куплю модельные туфли. И Ксене.

А мне ничего не надо. Я только сошью себе костюм, как

у Митьки Самородова: брюки «Оксфорд» и короткий, в клеточку, пиджак. В этом костюме я буду танцевать с Ниной танго...

Пока я иду по узкоколейке, окаймлённой молодыми сосенками и можжевельником, мне никто не мешает рисовать себе какие угодно картины.

Я могу даже, сойдя на обочину, сделать несколько танцевальных движений, могу даже напеть эту песенку из кинофильма «Петер»:

Танцуй танго, Мне так легко  
Та-та-та, та-та, далеких  
И знойных стран...

Но вот дорога, выбираясь из мелколесья, делает поворот, и я подхожу к железнодорожному переезду, возле которого желтеет будка стрелочника. С юга, со стороны Вожеги, постукивая, несётся товарный поезд. Сейчас мы проверим свою смелость.

Я останавливаюсь шагах в пяти от линии. Тяжёлый состав, прогрохотав через мост, приближается к переезду. Паровоз, блестя фарами, напряжённо отдуваясь и покачиваясь, растёт на глазах. Вот до него уже метров двести... сто – секундочку – пора!

Я прыгаю через линию и чувствую, как моё сердце мгновенно превращается в ледяной ком – мне даже кажется, что какая-то моя часть не успела перепрыгнуть и осталась там,

по ту сторону, – чувствую удар ветра, слышу, как звякает миска о кастрюлю. А поезд мчится дальше, золотистыми пачками тянутся ряды брёвен на платформах, сухо, железно щёлкают колёса.

Всё в порядке. Успел! Я глубоко вздыхаю и с полминуты ещё приглядываюсь к тому, как мелькают ступени подножек. На таком ходу, пожалуй, на подножку не вскочишь, даже если будешь бежать вдоль состава по ходу поезда изо всех сил.

Соскочить можно, это проще.

Я и со скорых поездов соскакивал. Правда, зимой, в снег. Прошлый год я часто ездил в Вожегу, за фотопластинками 6Х9 и возвращался большей частью – так совпадало по времени – на скором, который в Явенге не останавливается. После Сямбы я через буферную площадку вылезал на подножку, вставал на нижнюю ступеньку и, не доезжая семафора, где подъём, прыгал... Надо только ноги посильнее выбрасывать вперёд и лететь сперва горизонтально, вроде бы на спину, а потом в воздухе тебя развернёт, и, как коснёшься земли, беги или лучше – вались в снег, тогда по крайней мере на столб не налетишь. Вот где акробатика мне помогала. Я это дело любил.

Последний вагон товарняка с площадкой главного кондуктора всё уменьшается и уменьшается. Я прощально помахиваю главному: счастливо! Теперь надо идти поживей и не оглядываться, а то ещё стрелочник по шее даст.

Танцуй танго, Мне так легко,

– мурлычу я себе под нос, поглядывая на продуктовый ларёк, механическую мастерскую и столбы подвесной дороги с мотовозами, которые уходят в голубую даль. Здесь, на базе хорошо пахнет мазутом и соляжкой – мне эти машинные запахи нравятся. Мне здесь вообще всё нравится: клуб, новый двухэтажный дом ИТР, и как движок хлопает, и из чёрного репродуктора музыка льётся. Я так и вижу своё будущее!

В длинном зале рабочей столовой я сперва читаю приколотое к стенке меню, затем в уме подсчитываю, плачу, сколько надо, и подхожу к раздаточному окну.

– Опять постный суп и пшённая каша? – смеётся выдавальщица.

Она пунцовая, а зубы белые, и на голове белое – такой марлевый тюрбан. Она молоденькая, но плечи у неё пышные. Я всегда стараюсь на них не смотреть.

– Ладно, давай! – сурово говорю я. – Два вермишелевых супа и три гуляша.

– Разговеться надумали? – спрашивает она с улыбкой, забирает мои талоны, посуду и уходит вглубь, где горячо и пахнет жареным луком. Сейчас она мне вместо двух порций вкатит четыре (а мама всё поражается: какие большие эти три порции!) и картошки с соусом наложит будь здоров. Но я всё равно не скажу спасибо, это её дело, что она даёт, я же у неё не прошу...

– Кушайте на здоровье, подкрепляйтесь! – говорит она, протягивая мне тяжёлую кастрюлю и миску, и всё улыбается и поглядывает на меня. Чудная какая-то!

Я ставлю миску с гуляшом на кастрюлю, сверху – крышку и газету, привязываю к ручкам широкий папин ремень и – в обратный путь...

Сейчас бы неплохо выкупаться перед обедом, но не идти же на реку с такой ношей! Придётся применять силу воли.

О чём бы таком подумать, чтобы не тянуло на реку? Буду думать о Нине, а ещё лучше – о войне. Вот только перейду линию, сразу и начну думать о войне.

Я поскорей перебегаю линию, но стрелочник-таки укараулил меня.

– Ты, леший тебя побери, чего деешь? Чего под паровик съешься? – он стал посреди дороги и выставил руку поперёк, как семафор.

Убежать от него трудно – кастрюля мешает, – а оправдываться я не люблю.

– Не «деешь», а «делаешь», дяденька, и не «паровик», а «паровоз», – в некоторой растерянности говорю я.

– А ну давай к дежурному по станции, давай сейчас же, грамотей мне тоже! – неожиданно вконец рассердился стрелочник и угрожающе двинулся на меня.

В эту минуту, на моё счастье, отчаянно затрезвонил телефон – два никелированных блюдца на жёлтой дощатой стене будки.

– Шпана сопливая, наказание Божие! – прокричал ещё стрелочник и круто повернул к будке.

Неприятно. Терпеть не могу, когда со мной так разговаривают. Мне тогда, наоборот, назло всё хочется делать...

Однако нет худа без добра. Купаться мне расхотелось – не надо и силу воли применять. Теперь можно и о войне не думать.

Я сейчас что-нибудь другое представлю себе, что-нибудь такое приятное.

Например, как меня вызовет в Вожегу военком и скажет, что ему нужны разведчики. Он сперва скажет: «Это ты похитил знамя у „синих“, когда была военная игра в пионерлагере?» Я скажу: «Я». – «А это ты, – скажет он, – грозил запереть в погреб часового Лену Степашову, если она не укажет, где спрятано их знамя?» – «Было дело под Полтавой», – признаюсь я. «Молодец! – внезапно похвалит меня военком. – Так вот, орёл, подбери себе десяток надёжных ребят, мы выдадим вам обмундирование, револьверы, финские ножи и отправим куда следует». – «Не в Испанию, товарищ капитан?» – «Нет, – ответит военком, – в Испании мы не вмешиваемся. – А сам хитро прищурится, потрогает свой новенький орден и скажет, как говорят во всех кинофильмах: – Действуйте!»

И вот уже мы летим, гудят моторы, а мы сидим, суровые, левая ладонь на рукоятке ножа, правая – на рукоятке скорострельного бесшумного револьвера...

И вот мы уже идём в атаку: я несу боевое красное знамя. Они стреляют в нас из пулемёта, а мы гордо идём и презрительно улыбаемся. Бесстрашно!

Я иду по шпалам узкоколейки, несу свою кастрюлю и презрительно улыбаюсь. У меня, чувствую, слёзы навёртываются – до того бесстрашно и гордо мы идём! До слёз – вот до чего!

Я вытираю кулаком глаза и как раз вовремя. Из-за поворота показывается лошадь, везёт осиновые клёпки. Тонкие рельсы чуть гудят, узловатые ноги привычно ступают в выбитые меж шпалами ямки; глаза у лошади полуприкрыты, нижняя атласная, в редких толстых волосках губа бессильно отвисла и дрожит, и ноги дрожат – того гляди, свалится, бедняга.

А на свежих клёпках сидит здоровая загорелая девка в белой косынке. Напевает что-то про себя. Тоже что-нибудь воображает.

– Слезь с вагонетки-то, – посторонившись, советую я. – А то подохнет твоя кляча.

– А подохнет – туда ей и дорога! – задорно отвечает девка. – Старикам везде у нас дорога, а молодым почёт. – Она дёргает вожжи, понукая: – Но-о, балуй!

Вот бессовестная! Кабы не кастрюля, взял бы вицу да по голым по её ногам!..

Я ускоряю шаг и уже вижу за изгородью напротив клёпочного завода свой дом – «корабль», как я его зову. Он открыт

всем ветрам. Окна на три стороны, и крыша сарая, как палуба. И капитанская рубка есть – мой чердак...

Папа, наверно, уже вернулся с участка. Снял очки, пропотевшую насквозь рубашку и неторопливо намыливает руки под умывальником. А мама расставляет тарелки и посматривает в окно – не идёт ли Юрка?

А Юрка идёт. И гуляш несёт. Мама велела взять на второе перловую кашу, а я сэкономил на супе, добавил из своих денег рубль и несу домой гуляш.

## Урок литературы

*Звонок звенит, и Маня мчится  
По направлению в седьмой класс,  
За столик маленький садится  
И начинает мучить нас.*

Трудно сказать, кто кого больше мучает: Маня нас или мы её, но уж так повелось, что этим стишком, чуть слышно проносимым сквозь зубы, мы всегда встречаем нашего преподавателя русского языка и литературы Марию Фёдоровну.

Я опять с Ванькой, и опять на третьей парте, и мне со своего места прекрасно видно каждое движение Марии Фёдоровны. Вот она с коротенькой улыбкой кивнула нам, разрешая сесть, уселась сама и принялась раскладывать свой багаж. Это замечательная особенность Мани: кроме классного журнала и толстой тетради с планом урока, она извлекает

из портфеля какие-то книги, учебники, программы, брошюры. За полминуты она выстраивает перед собой целую баррикаду, затем отмечает в журнале, кто отсутствует, кладёт локти на стол и начинает говорить.

Теперь до самого звонка Маня ни разу не поднимется, ни разу не оторвёт глаз от книг и не снимет со стола широко расставленных полных локтей. Её круглое лицо со шрамом возле небольшого рта спокойно и невозмутимо. Маня излагает нам материал.

Она рассказывает о детских и юношеских годах Максима Горького, а я гляжу на этот её шрамик и вспоминаю, как прошлой зимой меня отстранили от занятий.

Меня тогда из-за Мани отстранили. Я во время перемен ходил на руках и не слышал звонка. Она открыла дверь, а я ей навстречу – ногами кверху. Она закричала, чтобы я немедленно отправлялся в учительскую, и побежала обратно по коридору, а я за ней – опять же на руках. И, на свою беду, налетел на директора Михаила Ивановича. Тот меня живо поставил на ноги, припомнил мне другие прегрешения и объявил, что исключает меня из школы на месяц. А Маня стояла рядом и хоть бы слово сказала в мою защиту. Даром что я у неё только на «оч. хор.» учился... Я вот до сих пор как следует не пойму, что же её так возмутило? Может быть, то, что я и в учительскую посмел идти на руках?

Я отворачиваюсь от Марии Фёдоровны и вижу классический профиль Нины. И у меня сразу веселеет на сердце. Ведь

создаёт же природа такое совершенство: такой матово-чистый лоб, такой правильный нос, такой нежный подбородок! И такое ушко, смугловато-розовое. И такие тёмно-каштановые, с лёгким блеском волосы... Нина не шелохнётся, слушает внимательно.

А я не могу слушать. Во-первых, я читал «Детство» и «В людях» – там Горький сам гораздо интересней рассказывает о себе, – а во-вторых, мне мешает, что Маня обложилась книгами. Что она против нас баррикаду свою построила? И почему она не поднимает глаз? Боится увидеть, что мы не тем занимаемся?

Ванька, например, жуёт. А что делает Серёжка? Серёжка сегодня забился на заднюю парту и читает «Всадника без головы», а может, стрелялку мастерит. Вот когда в пятом классе русский язык преподавала Птичкина, тогда Серёжка не мастерил стрелялок. Он не сводил с неё глаз. Она была молодая, но очень строгая – Птичкина! Потом её, к сожалению, куда-то перевели от нас...

А Стёпка? Этот, конечно, колупает под носом и дремлет – мучается. «Луште!»

Сашка Вавилов, как и Нина, усердно слушает. Он у нас, между прочим, великий математик: любую задачу за минуту решит. У него чуть оттопыренные уши, ему сам Бог велел слушать.

И Любочка Осенина слушает: небесные глаза, льняные локоны, не девочка – куколка! Оглянулась-таки!

Я подмигиваю ей, она, покраснев, прикрывается тетрадкой, чтобы Маня не заметила. Напрасные опасения! Маня не желает ничего замечать – бубнит лишь по своему учебнику. Люба Осенина, Сашка, Нина и я – мы считаемся лучшими учениками в классе. Вчера нас вместе сфотографировали. По успеваемости я правда лучший, у меня только дисциплинка хромает. Ну, да теперь, в седьмом классе, постепенно и дисциплинку наладим.

Чем бы ещё заняться?

– Ванька, дай пирожка!

– Самому мало, – отвечает с набитым ртом Ванька, но всё же отламывает уголок.

Теперь мы как-нибудь дотянем до конца урока. С куском грибного пирога не пропадём. Выдержим!

– Помнишь это, – шепчу я Ваньке, – помнишь: «И шило бреет!»?

Мы прошлой осенью так и покатались со смеху, вычитав в хрестоматии эту фразу Салтыкова-Щедрина: «И шило бреет!»

– Шило-то бреет, – говорит Ванька, – а пирог убывает.

– Пирог убывает, – соглашаюсь я, – зато время идёт.

– Время идёт, – обрадованно подхватывает Ванька. – А дале чего?

А дальше – Мария Фёдоровна вскидывает на нас свои измученные глаза, и мы умолкаем. Потом она задаёт на дом – прочитайте от такой-то до такой-то страницы, – и как раз в ко-

ридоре заливисто ударяет звонок.

## Футбол

Большая перемена! Большая перемена!.. Я пробкой вылетаю из класса, водружаюсь верхом на лестничные перила и – жиг! – съезжаю до поворота, разворачиваюсь и – жиг! – спускаюсь до конца. Я спешу к выходу, а мимо меня – жиг! жиг! – один за другим скатываются ребята. Хоть перемена и большая, надо дорожить каждой минутой.

На улице солнце, бодрящая свежесть, простор. Я бегу на футбольное поле, а Митька Самородов уже там. И баян его стоит на скамейке. И мяч прислонён к штанге ворот – дожидается нас. Господи, до чего же хорошо мы живём!

– Привет, Дмитрий Иванович! – кричу я издали.

– Приветик! – отвечает он и делает страшную гримасу.

Он тоже комик. Он теперь у нас преподаватель физкультуры, а ещё каких-нибудь полтора, два месяца тому назад... Но об этом молчок. Скажу только одно: я ему подчиняюсь. Митька учился в железнодорожном техникуме, он отличный спортсмен, прекрасно танцует современные танцы, играет на баяне и вообще.

Подцепив носком ботинка мяч, веду его к черте штрафной площадки. Серёжка встаёт в ворота. Ванька, Стёпка и ещё несколько наших станционных ребят выстраиваются в цепочку. Мы будем бить по очереди – отрабатывать удар.

Оглядываюсь на Митьку.

Он подносит ко рту жестяной судейский свисток. Серёжка в воротах напряжился, чуть согнулся. Верещит свисток. Я разбегаюсь – бац!

Серёжка, прыгнув, берёт. В левом верхнем углу. Силён, бродяга! Я отхожу в сторону, а Серёжка накатывает мяч на Ваньку, и тот – бац! – неожиданно бьёт с ходу. Мяч проскакивает в ворота и летит на дорогу, по которой, обнявшись, идут девочки. Одна из них ножкой – тюк! – и промакнулась, другая – цап! – поймала и откинула нам.

Ванькины большие уши зарделись от гордости: как же, на глазах у публики забил гол! Серёжка протестует: не было свистка судьи – значит, нельзя было бить; этот гол не считается.

– А зачем накатывал? – спорит Ванька.

– «Зачем! Зачем!»! – Серёжка быстро морщит нос (он всегда морщит нос, когда передразнивает). – А зачем тебе голова дана? Для шапки?

У Ваньки загораются скулы: Серёжка его задевает. Дело может дойти до драки. А Митьке уже не пробиться к нам, его плотно окружили девочки и просят сыграть падеспань.

– Минутку, девочки!..

Но девочки не хотят ждать ни минуты, и Митька, кинув мне судейский свисток – разберись, мол, там за меня, – отстёгивает ремешки на баяне.

Ванька и Серёжка сближаются короткими шажками. Ли-

цо Серёжки зло бледнеет, а Ванькино всё гуще краснеет. Я, грешный, люблю понаблюдать за этим. Зрачки у них сужаются, губы пересыхают. Серёжка покрупнее и постарше, но Ванька с длинными жилистыми руками не слабей его – тоже может зацепить.

– А ты что уставился? – прикрикиваю я на Стёпку. – Иди пока в ворота!

– Луште обожду, – бормочет Стёпка.

Ванька и Серёжка сблизилась. Сейчас будет небольшой энергичный разговор.

– Чего те надо? – говорит Ванька. – Ну, чего?

– А те чего, суслик? – презрительно говорит Серёжка, и его чёрные глаза мрачно мерцают.

Я от волнения быстро глотаю слюну. Что ответит Ванька? Кто первый поднимет руку на другого?

– Я? Суслик?! – Ванька, оскорблённый, уже весь дрожит. Наступают последние секунды.

Серёжка резко сгибает руку в локте, и в этот момент я бросаюсь к товарищам, встаю между ними и даю свисток.

– Ребята, – угрюмо объявляю я затем, – вы оба неправы.

– А чего ему надо? – первым откликается Ванька.

Ваньке не следовало бы откликаться первым: его же заделали.

– Повторяю, оба неправы. Восстановим справедливость. Ясно?.. По поручению судьи, назначаю спорный.

– «Справедливость, справедливость»!.. – Серёжка сплёт-

ываает через зубы и, повернувшись, бредёт за дорогу на лужайку, где начинаются танцы под баян.

Тем лучше. Сам себя наказывает человек.

– Стёпка, в ворота! – говорю я.

Стёпка бежит к воротам, Ванька ставит мяч у черты штрафной площадки, и мы возобновляем футбол.

## Дома

Возле нашего дома нет ни деревца. Голо. Вот ещё почему я долго не мог привыкнуть к Явенге.

В Троице, когда папа начал вставать после болезни, нам дали отдельный домик за рекой в Отрадном. Это был чудо-домик! Огромные берёзы касались ветвями крыши, гладили её при лёгком ветре, а солнце, пробиваясь сквозь листву, рассыпало вокруг дрожащие золотые денежки. Зимой берёзы высились как серебряные исполины, защищая дом от выюг и снежных заносов, весной, оттаяв, первые принимали вернувшихся с юга грачей и скворцов.

Я часто перелезал с крыши на одну из берёз и, вскарабкавшись на верхушку, просиживал там часами. Сразу за домиком начиналось ржаное поле, на краю его стояла ветряная мельница с серыми разохшимися крыльями; слева темнел Вотчинский бор, справа, за светлым ручьём, перегороженным вёршами, – Куровский; а впереди – Кубена, а по взгорью и по обе стороны дороги на том берегу – белая церков-

ная ограда и ряды рябин...

Плохо, когда возле дома нет деревьев. Сосны в нашем посёлке не в счёт. Сосны и ели – это для леса, они колючие, а для человеческого жилья нужна гладкая нежная листва берёзы или черёмухи.

И всё-таки я полюбил этот наш дом в Явенге. Он как островок в открытом море. Его сечёт дождь, в летний зной сушит солнце, буйные весенние ветры селятся сорвать с него крышу, но он не поддаётся, наш дом. Он, как корабль, который незримо несёт меня навстречу будущему.

...Мама в тёмном жакетике своём стоит на крыльце с ведёрком в руке. То ли подоила коз, то ли за водой собралась – пока не разберу. Она тоже заметно постарела, как и папа. Совсем уже не та, синеглазая, с высокой причёской, что когда-то, приветливо улыбаясь, подавала чай гостям.

Я отдаю маме портфель, забираю ведро и топаю к колодцу. Когда возвращаюсь, мама сидит на кухне и тихонько кончиками пальцев постукивает по столу. Значит, чем-то озабочена или опечалена. Папы нет.

– Будем ждать папу или пообедаешь один? – спрашивает она.

– А он скоро?

Я, как всегда после школы, голодный.

– Он уже был, пожевал хлеба и опять пошёл. Через час, сказал, вернётся... Столько ему опять хлопот с выставкой!

Папа по-прежнему каждую осень устраивает в школе вы-

ставки нового урожая. Между прочим, недавно его опытами заинтересовался институт растениеводства в Ленинграде, а газета «Правда Севера» обещает напечатать папины статьи о гречихе и топинамбуре.

– А ты знаешь, Юра, что это последняя папина выставка? Уходит на пенсию наш голубчик...

Я об этом слышал. Папа собирался ещё той осенью, но не было замены, а теперь прислали, кажется, молодого агронома. Папа и так проработал лишних четыре года.

– А почему ты расстроена?

– Боюсь за него, Юрушка, – шепчет мама, и её глаза быстро влажнеют.

Она встаёт, открывает в печи заслонку и долго не может найти в углу нужного ухвата. Мне хочется обнять её, поцеловать в тёплый височек, но я в последние годы как-то поотвык от этого.

– Ты зря тревожишься. Папе будет легче.

– Не знаю, – тихо отвечает мама. – Не знаю. Он сорок лет изо дня в день уходил по утрам на работу, сорок лет... Как он теперь перенесёт такую перемену в жизни?..

Пообедав, я сразу сажусь за уроки и уже кончаю письменные задания, когда приходит папа. Он оживлён, даже весел, и говорит, что выставка почти готова. Понадобится ещё день, ну, два. Обещают приехать представители из района и из других школ перенимать опыт.

– Пе-ре-ни-мать! – вдруг с усмешкой повторяет он

по складам. – Не учиться, не наживать опыт, а просто пере-  
нимать. Гм?!

Пока он умывается, мама приносит хлеб и ставит тарелку с супом на большой стол, за которым я готовлю уроки. Я занимаюсь на одном конце стола, а папа садится за другой. Я по старой привычке протягиваю ему газету.

– Ну, что хорошенького в мире, чиж? – Папа, когда обе-  
дает, снимает очки, и поэтому близоруко щурится.

– В Испании бои. У нас построили новую домну на Ура-  
ле...

– А в классе у тебя что?

– Замечаний нет. По истории – оч. хор.

– Оч. хор!.. Пороть вас некому!

И, покачав головой, папа принимается за суп. Газету он кладёт рядом с тарелкой.

Он ест необычно – я люблю украдкой понаблюдать, как он ест. Он зачерпывает суп движением не на себя, а от себя, и левой рукой отламывает от хлеба кусочки. Я так не умею. Я держу весь кусок в руке, и потом, мама говорит, я чавкаю и дую на ложку, а это не полагается. Папа ест хотя и быстро, но бесшумно, и при этом может разговаривать.

Мама уносит пустую тарелку, а он берётся за газету.

– Это тоже не полагается, – говорю я. – Нельзя читать во время еды.

– Правильно, – говорит папа, а сам читает, вернее, скользит сощуренным взглядом по газетному листу. Это он выби-

рает, на чём остановиться.

– Рассеивается ведь внимание.

– Да, конечно... Вот мерзавцы! – Папа подносит газету к самому носу, и глаза его начинают бегать по строчкам. – Аня, ты читала?

Мама подаёт ему второе. Она выглядит уже спокойной. Она удивительно умеет скрывать от папы свои заботы.

– Вот послушай, – говорит папа и читает вслух про то, что, поскольку правительство его величества занимает позицию строгого невмешательства, оно не может позволить своим гражданам посылать медикаменты и перевязочные материалы для нужд одной из воюющих сторон, в данном случае – для республиканцев.

Мама говорит, что это лицемерие, что это бесчеловечно а папа добавляет, что подло, что правительству его величества, конечно, ближе генерал Франко и в этом вся суть... Он, папа, мечтает, чтобы в Испании победили демократы-республиканцы, то есть народ.

Он всегда был за народ. Мама рассказывала, что во время революции они с папой участвовали в манифестациях (мама говорит по старинке – «манифестациях», а не «демонстрациях»), что папа и до революции ругал царя. Ещё она интересно рассказывала, что папа пытался создать кооператив из бедных крестьян, такое товарищество по совместной обработке земли и приобретению сельскохозяйственного инвентаря – это было ещё до первой мировой войны, – а один

купец предлагал ему десять тысяч рублей отступного, но папа прогнал его. Правда, губернские власти потом всё равно запретили этот кооператив, и у папы были неприятности, но то ценно, что он и в те времена старался быть полезным народу.

Папа доедает макароны, затем пьёт крепкий чай. На это тоже забавно смотреть, потому что он выпучивает глаза, когда тянет из стакана. И продолжает читать газету.

...Начинает смеркаться. Часы на стене показывают пять. Я люблю наступление сумерек: всё кругом как-то смягчается, притихает, делается чуть таинственным.

Я лежу на печке, подперев голову кулаком. Мама вымыла посуду, подмела на кухне и прикорнула на кушетке. Папа прохаживается по комнате, думает. Слышно, как под его ногами поскрипывают половицы.

А мне на печке хорошо. Отсюда всё видно. Повернёшься в одну сторону – кухня с окном, через которое можно поглядеть на проходящих мимо нашего дома в посёлок людей. Повернёшься в другую – прихожая, пожалуйста, наблюдай через это окно, как Шубины дрова пилят. В третью сторону повернёшься – перед глазами железная труба с кудрявым сизым дымком, штабели клёпок и жёлтая гора опилок. Окна у нас высокие, а печь не особенно, вот с неё и видно всё.

Маме не совсем нравится этот наш дом. Мы только по привычке так говорим: кухня, прихожая, столовая. На самом деле это одна большая комната, посреди которой стоит

здоровенная печь. Папа сам сделал перегородки, но от этого мало что изменилось. Разговаривают на кухне, а слышно везде, не то что было в Троице. Тут у папы даже кабинета нет, просто поставил свой стол в дальнем от двери углу, там и работает вечерами.

Когда к нам первый раз приехал из Ленинграда муж Иры Георгий Георгиевич (он преподаватель литературы), папа в шутку назвал наш дом жилищем древних германцев. Помню, Георгий Георгиевич полдня провёл на стремянке, любовался нашей библиотекой. Влезет на эту лесенку и достаёт с полка книгу за книгой, полистает, замрёт, потом спустится и перетаскивает стремянку дальше. Так вдоль стен и обошёл весь дом...

Папа всё прохаживается и думает. Поскрипывают половицы. А мама притихла – может, уснула? Наверно, папа думает об Испании, о её смелом и гордом народе, о выжженных войной полях, об оливковых рощах, прибитых и поломанных артиллерийским огнём. А я, как всегда, думаю о Нине и о том, чем бы мне заняться вечером: почитать «Войну и мир», или «Рождённые бурей», или пойти в кино...

– Аня, ты спишь? – вполголоса спрашивает папа.

– Нет, – отвечает мама. Значит, даже не задремала.

– Что Ксения? Будет она в эту субботу?

Мама говорит, что должна. Потом они обсуждают, как бы подновить Ксене зимнее пальто. Потом говорят про Иру, вспоминают про других сестёр. У папы с мамой за всех бо-

лит сердце. Потом они говорят, что Юре обязательно нужны новые валенки.

Валенки мне правда нужны. Прошлой зимой мои старые чинили, чинили, и всё равно – дырки. Я их затыкал тряпочкой, чтобы снег не попадал внутрь.

– Пока будет мои носить, – говорит мама, – а я похожу в его, мне для дома сойдёт.

Она, я знаю, уже побаивается, что нам не хватит папиной пенсии, если ещё покупать что-нибудь новое. Потом мама ловко меняет разговор, чтобы папа не волновался из-за валенок; она хочет сделать ему приятное и спрашивает про выставку.

А папа опять вспоминает, что приедут представители перенимать опыт. Ему, я чувствую, то не нравится в этом слове, что оно какое-то чересчур лёгкое внутри.

Папа любит другие слова: труд, ученье, время. Он любит показывать на земле, на своём участке, как надо выращивать, там у него действительно можно многое перенимать, то есть учиться, а без этого, просто на готовенькое поглядеть – мало толку. Я его так понимаю.

Папа умолкает, и я вижу, что им обоим, папе и маме, стало грустно. И мне делается жалко их: они ведь очень добрые и хотят, как лучше, но они не *совсем современные*. Мне что-то до того делается их жалко, что я немедленно спускаюсь с печки и подхожу к маме.

– Барсика показать?

– Ну покажи! – Мама даже обрадовалась... Вот так ведь всю жизнь её выручаю!

Я вначале мекаю по-козлиному, вскидываю ножку, потом, оттопырив подбородок, наступаю на папу. Папа, изображающий в этой игре козу, уклоняется от ухаживания, увиливает, и тогда я, козёл, останавливаюсь, обиженный и ничего не понимающий. Я кручу головой, снова мекаю, втягиваю ноздрями воздух и ещё энергичнее вскидываю ножку. Затем вдруг, подняв колено, делаю как будто то, что, иногда делает козёл, мучимый жаждой, и тут папа не выдерживает – хохочет.

И мама хохочет, как девушка, подбирает с опаской ноги на кушетку, а потом живо встаёт и отправляется зажигать лампу.

А я уже кукарекаю. Я ещё покажу им, как петух, выставив крыло, гоняется за курицей. Папа с мамой этого моего номера ещё не видали.

## **Муки творчества**

За окном нудный осенний дождь. Сеется, сеется, и конца ему нет. Небо сплошь залеплено тучами, земля от воды почернела, и деревья, и крыши домов. В такую погоду только лежать на печке. В такую погоду, как говорится, хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Ненавижу осень!

Я отхожу от окна и вновь с тяжёлым чувством обозреваю чистый лист полуватмана, разложенный на учительском сто-

ле. Меня выбрали редактором школьной стенгазеты, и мне надо выпустить первый номер к завтрашнему дню: я дал слово директору Михаилу Ивановичу. А как выпустишь, если нет заметок, – одна только передовая?

Я пячусь к своей парте (в классе ни души, никто меня не видит) и, ухватившись одной рукой за спинку сиденья, другой – за край скамейки, делаю «стоечку». Когда делаешь «стоечку», в голову нередко приходят удачные мысли. Это потому, что приливает кровь к мозгу и освежает его. Но сейчас – пусто, никаких мыслей!

Я опускаю ноги и уныло выпрямляюсь за партой. Как на уроке. Как прилежный, старательный, дисциплинированный ученик. Терпеть не могу чересчур прилежных и старательных! Это таких надо заставлять выпускать стенгазету к завтрашнему дню. Их даже заставлять не надо, им надо поручить, и они быстренько и с удовольствием всё исполнят. Вот примерно так.

Колонка первая – передовая. Тут всё ясно: поднимать успеваемость, посещаемость, сознательную дисциплину; бороться с прогулами, с плохим поведением на уроках и на переменах. Передовая – это, в общем, не наше дело. Её пишет директор или завуч.

Наше начинается со второй колонки. Она всегда посвящается лучшим ученикам – с кого брать пример. «У нас в седьмом „А“ есть Александр Вавилов. Он внимательно слушает объяснения преподавателей, аккуратно выполняет домаш-

ние задания. Александр Вавилов подтянут, не опаздывает на уроки и не пропускает без уважительных причин. Он активно участвует в учкоме, проявляет сознательную дисциплину как на занятиях, так и дома...» Сашка, конечно, не такой прилизанный, но напишут о нём именно так.

Колонка третья. Что в третьей? Да, о пионерской работе. Как прошёл первый сбор. «Недавно в нашей школе состоялся первый в этом учебном году пионерский сбор. Он был очень интересным и содержательным. Ребята с большим интересом слушали выступление участника гражданской войны преподавателя истории Петра Фирсовича Кукушкина, который поделился своими воспоминаниями о тех незабываемых днях. Особенно внимательно слушали пионеры Н. Коновалова и Л. Осенина. Неудивительно, что они являются лучшими учениками в классе, а теперь с удвоенной энергией приложат силы, чтобы и в дальнейшем учиться на «хорошо» и «очень хорошо».

Колонка четвёртая. Критика и юмор. Сперва статечка об отрицательных учениках. «Подавляющее большинство учащихся Явенгской НСШ проявляют сознательное отношение к своим обязанностям. Они хорошо ведут себя на уроках и переменах, не употребляют нецензурных выражений, не курят в уборной. Но есть, к сожалению, у нас и такие ученики, как например, Коновалов Сергей. Коновалов Сергей...»

Тут я вздыхаю. При всех своих недостатках Серёжка, ей-

богу, хороший парень. Ну, покуривает иногда в уборной, ну, случается, рисует на уроках карикатуры... Но ведь как рисует! Здорово! Вот бы кого в редколлегию включить! А то всё сам: и за художника, и за редактора, и за двух помощников своих, которые пошли собирать заметки по классам, да так и не вернулись...

Что же дать для юмора? Конечно: «Кому что снится» – «Степану снится, как бы на русском не провалиться. Ивану снится, как бы домой поскорее смыться („работать надо“). Денисову снится... Болотову снится...» Что им снится, это легко придумать.

Ну, и в самом конце, внизу, чтобы заполнить место, надо нарисовать почтовый ящик и поместить обращение: «Ребята! Пишите заметки в нашу газету!»

Вот так бодренько и состряпал бы номер редактор, назначенный из чересчур прилежных учеников. И у меня снова вырывается вздох. Почему? Потому что за окном дождь, потому что нет заметок, потому что, помучившись и не придумав ничего нового, я сделаю газету точно такой, как и тот воображаемый слишком прилежный ученик.

Впрочем, может, ещё и не совсем такой. Я скидываю с себя куртку и опять выжимаю «стоечку». Вместо почтового ящика я перерисую из «Огонька» ребус – пусть поломают себе голову! Вместо Серёжки Коновалова раскритикую школьного сторожа, любителя крепкой ругани, чтобы он не подавал нам, учащимся, отрицательного примера. Постараюсь

получше описать пионерский сбор – он и правда был интересным. Про Сашку Вавилова, помимо всего прочего, скажу, что он настоящий товарищ, так как многим помогает по математике. А под заголовком весёлыми разноцветными буквами напечатаю: «Этот номер составлен на материале седьмого „А“ класса. Пишите заметки, детвора!» Ура!

Я по всем правилам выхожу из «стоечки», надеваю куртку и уверенно принимаюсь за работу.

Часа через два, перепачкавшись чернилами и краской, я несу своё творение в учительскую на просмотр к Михаилу Ивановичу.

Учительская открыта, но никого в ней нет. На столе лежат тетради, классные журналы – бери любой и ставь всем подряд «оч. хор». Заглядываю в директорскую комнату. Там на подоконнике коробка с мелом, какие-то книжечки, программы, инструкции. На стене – синий непромокаемый плащ Михаила Ивановича. В углу сушится раскрытый зонтик завуча Валентины Фёдоровны. Куда же подевались хозяйева?

Положив стенгазету на стол, я быстро складываю не просохший ещё зонтик и прячу за шкаф (пусть поищет!), набиваю карманы директорского плаща мелом (вот, представляю, разозлится!), потом выхожу в коридор, сворачиваю к физкультурному залу – дверь его прикрыта неплотно – и тут догадываюсь, в чём дело. Михаил Иванович повёл учителей к папе. Сейчас посмотрим, чем они там занимаются.

Я просовываю голову в дверь и вижу такую картину. Во-первых, это уже не физкультурный зал, а что-то вроде опытного участка в миниатюре; папа сюда даже дощечки с надписями перетащил, и они стоят теперь посреди высоких горок земляной груши, тыквы, кабачков, разных сортов картофеля и капусты. Во-вторых, сам папа, сияющий и немножко важный, держит на весу огромный спелый помидор и что-то объясняет, а Михаил Иванович, Мария Фёдоровна, Иван Иванович и некоторые другие учителя смотрят и внимательно слушают. Как учащиеся, честное слово! И лица у них, как у учащихся, и тоже чуть сияющие. Такие хорошие лица, что мне делается вдруг неловко, и я тихонько ретируюсь от двери.

Я знаю, что папу очень уважают за его трудолюбие и скромность, а по своим годам и педагогическому стажу он действительно годится им в учителя. Но дело, я чувствую, не только в папином возрасте и стаже. Есть что-то большее, из-за чего к нему так относятся, но я не могу этого объяснить. Сейчас я лишь понимаю, что папа сильный, а сила его в том, что он совсем, совсем не *суровый*. У него какая-то особая сила, поэтому к нему так и относятся.

А я себе вдруг кажусь каким-то мордастым негодяем. Обжорой, хитрым, испорченным до мозга костей. И ещё я понимаю, что мне никогда не стать таким, как папа. Может, я и выучусь на морского лётчика и сошью себе костюм, как у Митьки, и у меня будут белые с наглаженными стрелками

брюки, но на меня никто не будет смотреть с сияющим лицом. Уважать, возможно, будут, бояться из-за моей суровости – тоже, но смотреть на меня так, с такими хорошими лицами – нет. Потому что я не знаю того, что знает папа, и, наверное, никогда не узнаю или не пойму.

Домой прихожу продрогшим и сразу забираюсь на печку. И мне уже не хочется ни в кино, ни на танцы. Я лучше погреюсь, а потом сбегаю в ОРС и куплю на свой последний рубль чего-нибудь сладкого к чаю, чтобы папе было приятно. Чтобы он подольше был сияющим и немножко важным, чтобы он и завтра таким был, когда откроется его выставка для всех и приедут представители перенимать опыт.

## Немецкий

Мама говорит, что я впечатлительный, впечатлительный и есть. Вот он меня сейчас отчитывает, а я не отвечаю, не грублю. Я просто вижу его вчерашнее лицо, поэтому не могу грубить, хоть он и не прав... Почему это не наше дело – критиковать школьного сторожа? И почему нельзя составлять школьную стенгазету на материале одного класса?

Михаил Иванович клином опускает верхнюю губу на нижнюю и отворачивается. Потом всеми пальцами откидывает с прямого лба длинные жёсткие волосы.

– Соберите по классам заметки и переделайте газету. Даю два дня сроку...

Урок уже начался, и я вежливо прошу у Ивана Ивановича разрешения войти, хотя опаздываю не по своей вине. Иван Иванович сердито разрешает, но я не обижаюсь на его сердитый тон и даже не говорю, что опоздал из-за директора. Я ещё вижу то его лицо, когда Иван Иванович как внимательный ученик слушал папу. Я тихо прохожу на своё место, тихо сажусь и лишь чуточку удивляюсь себе.

Иван Иванович, продолжая объяснять, следит за мной краем глаза и, по-моему, тоже чуточку удивляется. Ведь я главный бузотёр на уроках немецкого языка: я у него однажды *такой* номер выкинул – ребята до сих пор не могут забыть...

А сегодня я даже тетрадку достал и смотрю Ивану Ивановичу прямо в рот. Он похож – я давно это заметил – на большого обиженного мальчика. Он небритый и сильно пахнет табаком. Он обижен на нас за то, что мы не любим немецкого языка.

А как его любить? Вот, например, такое стихотворение:

Tinte, Feder und Papier  
Hat hier jeder Pionier.  
Buch und Heft und Tintenfafi —  
Alle Schuler haben das.

Или такое:

Wir bauen Motoren,

Wir bauen Maschinen,  
Wir bauen Traktoren,  
Wir bauen Turbinen.

Мы это учили ещё в пятом классе, и с той поры не то что невзлюбили, а просто дружно возненавидели немецкий.

Что мы – дураки? По литературе проходим: «Мороз и солнце, день чудесный», «Убит поэт, невольник чести», а тут: «Papier – Pionier», «Motoren – Traktoren». Я уж не говорю, что всё время приходится выламывать язык, поворачивать его и так и этак, к зубам прижимать, к нёбу задирать, чтобы получилось правильное произношение...

И всё-таки, наверно, надо. Как подумаешь, что в Германии может вспыхнуть революция и немецкие рабочие позовут нас на помощь – поневоле пересилишь себя и будешь твердить все эти «haben» и «sagen».

– Was habe ich gesagt? Wiederhole! – опять сердито говорит мне Иван Иванович.

Я встаю и повторяю, что он сказал, – последнюю его фразу. И он вновь удивлённо смотрит на меня краем глаза, небритый обиженный мальчик. Ему показалось, что я не слушаю его, а я взял и повторил. Так что всё в порядке! Я опускаюсь на место и начинаю прилежно списывать в тетрадь то, что он выводит мелом на доске. Пусть поудивляется себе на здоровье!

Под конец урока Иван Иванович задаёт нам самостоятель-

но переводить отрывок из книги. Я выписываю на бумажку незнакомые слова, нахожу их в словаре, тут же выучиваю, затем читаю весь отрывок, вернее, двенадцать верхних строк, как он велел, сперва по-немецки, а потом по-русски, и задание выполнено. Теперь пусть спрашивает – я запомнил. У меня же, он сам говорит, лошадиная память. Но Иван Иванович не спрашивает и вообще больше не обращает на нас внимания: раскрыл толстую тетрадь и занялся своим делом. Тогда и я займусь своим.

Я поворачиваю голову и гляжу на Нину. Нина облокотилась о парту, зажала виски в ладонях и шепчет немецкие слова. Я вижу только её нос и губы. Губы её шепчут – слегка открываются и закрываются. Что они шепчут? Какие слова?

«Юра, – шепчут её губы (это я воображаю), – перестань на меня смотреть. Ты мне мешаешь заниматься. Отвернись».

«А мне так хорошо на тебя смотреть, Нина, – говорю я, – так хорошо, что передать невозможно. Мне радостно на тебя смотреть».

«Ну что ты хочешь от меня, Юра? Что у тебя на уме? Ведь ты целый год на меня так смотришь и смотришь и всё молчишь. Что тебе надо?»

«Откровенно, я и сам как следует не знаю, что мне надо. Мне просто очень приятно смотреть на твоё лицо, на твои волосы, на твои руки. Когда я на тебя смотрю, на душе делается весело, и я иногда слышу своё сердце. Мне очень приятно, что ты учишься в одном со мной классе, что ты сидишь

наискосок от меня, и я могу на тебя смотреть. Мне приятно, что я слышу твой смех на переменах, а когда ты – правда, так редко! – взглядываешь на меня своими удивительными глазами, я весь замираю и стараюсь понять, что означает твой взгляд. И я очень часто придумываю наши разговоры, которых в действительности не было и нет. И если сказать тебе всю правду, то я проказничал на уроках главным образом ради тебя, чтобы ты лишний раз посмотрела на меня и, может быть, подумала, какой он (то есть я) смелый. Я бы мог много говорить о тебе и о себе, но ты меня не слушаешь, твои губы шепчут немецкие слова».

«Неправда. Я слушаю внимательно, я всегда слушаю внимательно, ты знаешь. И это тебе только кажется, что мои губы шепчут немецкие слова, на самом деле – совсем другое. Но я тебе не могу сказать, что они шепчут.

Девочки не должны об этом говорить. Ты меня понял?»

«Нет. Пожалуйста, оглянись, тогда я прочту в твоих глазах то, что ты не можешь или не хочешь сказать. Посмотри на меня, Нина. Если согласишься, я тебе тоже скажу, о чём раньше молчал. Оглянись!»

Но Нина не оглядывается. Всё так же сжимая в ладонях виски, она твердит немецкие слова, и никакого-то ей дела до меня нет! Ладно, Нина. Хоть ты и не посмотрела, я всё-таки скажу тебе, о чём молчал. Я должен это сказать...

Иван Иванович продолжает заниматься своим: по-моему, разучивает новую роль. Я выдираю из тетради листок,

складываю его вдвое, затем ещё раз вдвое, отрываю четвертушку и пишу на ней крупными буквами: «Nina, ich liebe dich». На перемене я незаметно подсуну эту бумажку в Нинин портфель.

## У нас всё ещё впереди

За ночь столько навалило снега, что когда утром мы глянули в окно, просто ахнули. На крыше у Шубиных образовалась высокая снежная подушка – лишь конец трубы торчит; изгородь наполовину утонула в сугробе, тропинку под окнами замело...

Сейчас бы надеть лыжи да дунуть на горку, но не хочется нарушать, распорядка дня. Я и так проспал зарядку, которую передают по радио, теперь придётся проделывать самостоятельно.

Пока я в одних трусиках – хоть в доме и выстыло – совершаю положенные подтягивания, приседания, наклоны и подскоки, мама растапливает на кухне печь, а папа возвращается из сарая. Он приносит с собой лёгкий запах мёрзлого сена (между прочим, по этому свежему запаху я и узнаю, что он был в сарае). Я иду к умывальнику делать водные процедуры, а он сторонится меня, чтобы не простудить. Тогда я нарочно подбегаю к нему и стягиваю с него поддёвку, а он звонко шлёпает меня и смеётся, а мама ворчит, что дома нет воды, а мы занимаемся глупостями. Она тоже немножко проспала,

поэтому нервничает и спешит: ей надо замешать козам пойло, подоить их, накормить кур, и нам пора завтракать. Но это пустяки. Сейчас я разотрусь суровым полотенцем и сбегая на колодец за водой. А папа, оказывается, уже покормил кур и положил козам сена. Он, выйдя на пенсию, стал больше помогать маме по хозяйству.

Через часок мама управляется, и мы садимся за стол. Она ставит чугунок с рассыпчатой картошкой, миску с солёными рыжиками, кладёт хлеб. Не знаю, для кого как, а для меня нет лучшей еды, чем эта. Я в самое трудное время – года четыре назад, когда были карточки, – за один присест по двенадцать картофелин съедал. И теперь не меньше того могу. Я разрезаю каждую картофелину на ломтики – они белые и сверкают, как снег на солнце, а шкурка сама сваливается с них, – цепляю вилкой упругие, пахнущие укропом и чесноком, рыжички, и ох как любо это всё исчезает в моём рту, и хлебушек ржаной так чудесно уминается! Папа говорит, что ржаной хлеб и картошка – самая здоровая пища. Как и простокваша, которая в сочетании с чёрным хлебом не только насыщает, но и оказывает благотворное действие на наш организм.

Картофель папа берёт вилкой и чистит ножом – никак не может отвыкнуть. И насмешливо поглядывает на меня: у него сегодня хорошее настроение. Мама успокоилась и тоже подобрела. Так мы сидим, завтракаем и чуть-чуть разговариваем.

Папа интересуется, как прошёл в клубе посвящённый годовщине Октября вечер, на котором я выступил от имени учащихся. Он подшучивает над тем, что я часто выступаю и будто бы «жую жвачку». Я не остаюсь в долгу и тут же показываю, как выступал он («Всё это великолепно, да, но... э-э-э-э... в баню, в баню надо почаще ходить!»). Мы смеёмся и вспоминаем Троицу и ШКМ.

– А ты дневник пишешь? – помолчав, уже серьёзно спрашивает папа.

– Конечно, – бодро отвечаю я.

– А с самолётами как?

– И с самолётами хорошо. Сегодня начинаю новую фюзеляжную модель...

Это папина затея, чтобы я занимался строительством авиамodelей. Он считает, что быть просто лётчиком не очень интересно – лётчик, мол, тот же извозчик – а вот конструировать и самому строить – другое дело. Но это не всё. Папа думает, что о главном я не догадываюсь, а я давно догадался. Он выписывает из Москвы материал для моделей и старается заинтересовать меня ими для того, чтобы я поменьше водился с хулиганами. В пятом классе с той же целью он заинтересовывал меня фотоделом, а с шестого класса авиамodelизмом. Да и дневник мой по сути предназначен для того же. Советуя мне его писать, папа сказал, что дневник приучает самостоятельно мыслить, оценивать свои поступки, ещё что-то...

Папе так хочется, чтобы я вырос хорошим человеком! Он, конечно, не знает, что и я этого очень хочу и в этом-то, собственно, состоит то тайное дело, которым я постоянно занимаюсь: вырабатываю в себе стойкий характер и силу воли.

Мама наливает чай и подаёт белые пирожки собственного печения.

– Ты ещё дрова возьми на себя, Юра, – говорит мама. – Папе одному трудно.

– Разумеется!

– И не отвиливай, пожалуйста, а то в твоём распорядке дня всё предусмотрено, кроме того, чтобы помочь дома.

– Ну какой разговор, сударыня!.. Учтём, так ска-ать, подработаем вопрос и, так ска-ать, обеспечим...

Мама улыбается и немного треплет меня за вихор.

После завтрака папа садится за свой стол в углу, а я за обеденный у окна. Теперь он может спокойно завершать труд всей своей жизни: как согреть нашу студёную северную землю, заставить её быть пощедрее к людям.

Правда, папа по-прежнему нетороплив, он бесконечно проверяет себя и подолгу обдумывает. Но с другой стороны, это и хорошо. Нам Павел Дмитриевич рассказывал на уроке зоологии, что даже такой великий учёный, как Чарлз Дарвин, и то почти всю жизнь трудился над одной книгой – тоже всё проверял. Вот так, наверно, и надо в любом деле: сто отмерь, один – отрежь.

А я не умею так. Я всегда один раз примеряю и сразу от-

резаю. Видимо, поэтому плохо и летают мои модели. Они плохо летают еще потому, что я вношу разные усовершенствования и не придерживаюсь инструкции. Я их красивее делаю, а иначе мне неинтересно.

Сейчас, по распорядку, как раз и полагалось бы прочитать инструкцию, разобраться в схеме и заготовить хотя бы несколько нервюр. Но я ещё не могу побороть себя. Как представлю себе эту схему – нападает зевота. Я пока положил на стол дневник и будто бы думаю. Я и вправду немножко думаю, немножко поглядываю на склонённый папин затылок и, кроме того, поглядываю в окно.

Ребята уже катаются всю – кто на лыжах, кто на санках. Из моего окна виден весь высокий правый берег Явengi. Там, на взгорье, крестьянские избы, а за ними белая, без креста, церковь, а сюда поближе, под самой горой – полуразваленная банька.

В прошлом году эту баньку вровень с крышей занесло снегом, и мы из неё соорудили трамплин. Я чуть не убился, когда первый раз прыгнул. Склон-то длинный и довольно крутой, разогнался со скоростью курьерского, а потом так кинуло – метров тридцать летел!

И всё бы ничего, если бы не подвели лыжи: воткнулись носами в снег, и я со всего маха хлопнулся животом. Больше, наверно, минуты не мог взять воздуха, думал – сердце лопнет. Но обошлось, только одну лыжу сломал. Потом я её столярным клеем склеил и по бокам железки набил, прочнее

новой стала...

Я сейчас с удовольствием надел бы лыжи и рванул туда, к ребятам, но вот – сижу. Вырабатываю характер. Папа объяснил мне, что характер начинается с воли, а волю только так и можно укреплять: хочется – победи своё желание, пусть даже незначительное, и сразу станешь сильнее. Надо постоянно упражняться в этом занятии, и сила воли будет расти... Я ведь знаю, что побездельничаю ещё немного, а потом и инструкцию прочту, и дров маме наготовлю, и лишь тогда пойду на лыжах. Себя-то я знаю. Это других трудно понять, а уж самого-то себя – как-нибудь.

Вот об этом, кстати, последняя запись в моём дневнике – о том, как трудно понять другого человека.

«28 октября. Объяснился с Н. Никакого ответа. Что за загадочный человек! Как она относится ко мне?..»

Я беру ручку, придвигаю к себе чернильницу и пишу:

«8 ноября. Второй день праздника. Он целиком посвящён отдыху. Думал о папе, о том, что он работает, как Ч. Дарвин. Глядел в окно и вспоминал, как в прошлом году чуть не убился, прыгая с баньки. Заставил себя усидеть на месте, чтобы не расслаблять волю... Насчёт Н. твёрдой уверенности нет. А может, она не нашла моей записки или не догадалась развернуть бумажку и прочитать, а просто выбросила её вместе с другими ненужными бумажками из портфеля? Как бы проверить? И вообще, что мне делать с ней и с собой? Это уравнение с двумя неизвестными я должен решить

не позднее Нового года!»

Подождав, когда просохнут чернила, я прячу дневник в стол. А теперь ввиду праздничного отдыха я позволю себе небольшую перестановку (когда сам позволяешь себе – воля не расслабляется): сперва покатаюсь на лыжах, а потом сделаю всё остальное. Только и исключительно ввиду праздничного отдыха!

Я ловлю себя вот на чём. Я ведь не на лыжах иду кататься и не ради лыж допускаю эту перестановку. Если бы кататься, то я надел бы старые валенки, а я надел новые, коротенькие, которые мне мама купила в Вожеге – не валенки, строго говоря, а женские ботики, но я спорол меховую опушку, и они стали как валенки; я ребятам сказал, что они спортивные...

Потом, если бы кататься – я непременно зашёл бы за Ванькой. А я встал на лыжи и бреду своей улицей мимо маслодельного завода и даже не взглянул в сторону Ванькиного дома. И ещё: почему я отправился на горку не напрямик, а в обход?

Ответ простой: я иду поглядеть на Нину; я рассчитываю встретить её где-нибудь на длинной дороге, возле её дома или возле дома Клары.

Я заметил, что сила воли плохо действует, когда касается моих чувств к Нине. Пойти или не пойти на лыжах – действует, ответить или не ответить на замечание преподавателя – действует, вообще почти на всё действует, кроме этих чувств.

Я бреду, слегка задумавшись, по дороге, слушаю, как каркают вороны, и вдруг вижу Мартышку. Шустрый такой, остроносенький, пальто нараспашку, шагает мне навстречу, весёлый.

– Здоровенько, атаман! – приветствует он меня беззаботно, как будто я ему ровня.

Я не отвечаю, приглядываюсь к нему. Выпил он в честь праздника, что ли? Глаза у него ненормально блестят, румянец пятнами.

– А ну дыхни, заяц! – приказываю я.

Он подходит и дышит мне в нос. Ясно, выпил.

– Хочешь, я тебя в снегу выкупаю?

Он, раздвинув рот до ушей, качает головой: не хочет.

– Где наклюкался?

Он молча, с ужимочкой дёргает плечами.

– А ты что – язык проглотил?

– Я ведь заяц, Мартышка, – отвечает он своим резким кривляющимся голосом и вдруг прямо и тяжело заглядывает мне в глаза. – Будешь бить – садану ножом.

– Ты? Меня?!

– А чего вы смеётесь надо мной? Какая я вам Мартышка? Какой заяц? – В глазах обида, злость, в голосе слёзы.

Ну и чепуха!

– Дай-ка сюда нож, – говорю я как можно спокойнее. – Давай добром, а не дашь... Считаю до трёх, – предупреждаю его и сбрасываю с ног лыжи.

– Значит, Мартышка, да? – не сдаётся он и снова тяжело и прямо смотрит мне в глаза.

– Раз!

– Мартышка?...

– Два! – Я вижу, как мелко дрожит его правая рука, сунутая в карман.

«Три» я не договариваю, а кидаюсь на него, силой выхватываю руку из кармана и, сжав её до боли, заставляю выпустить зазубренный кухонный нож.

Он вырывается, скрипит зубами, пытается боднуть меня под подбородок, но я всё крепче стискиваю его руки повыше кистей, пока в его затуманенных глазах не вскипают слёзы.

И сразу мне делается его жалко.

– Ты не Мартышка, – говорю я, освобождая его руки. – Ты дурак, потому что не понимаешь шуток.

– Я человек! – говорит он, всхлипывая.

– А кто же это оспаривает? Тебя же, наоборот, все артистом считают!..

И тут сквозь сверканье его слёз пробивается улыбка. Я это очень люблю: это как солнышко на утренней росе. Так бывает с маленькими детьми: плачут и вдруг рассмеются. Глаза мокрые, чуть виноватые, и в них радость. Ничего нет лучше на свете!

– На твой кинжал, и иди проспись, – совсем уже великодушничая я и возвращаю ему нож. – А если кто ещё будет обзывать тебя, скажешь мне. Понял, заяц?

Я наклоняюсь, чтобы вдеть валенки в ремешки лыж, и вдруг словно какой-то толчок в мозг. Я резко оборачиваюсь (как Дзержинский, когда в него собирались стрелять) – Мартышка, дёрнув рукой и побледнев, опускает нож в карман... Всё-таки хотел, ударить меня!

– Знаешь что, – говорю я, ощущая короткие сильные толчки сердца, – вынь руки из карманов и шагай, не оглядываясь, к дому. А оглянешься... Понял?! Марш!

Он, весь как-то обмякнув – и хмель с него, кажется, слетает, – покорно поворачивается и идёт. А я за ним.

Вот тебе и встретился с Ниной! Ну, да день велик!..

## Любимый учитель

И снова уроки. Снова Мария Фёдоровна, Иван Иванович и остальные великомученики – учителя наши.

Мария Фёдоровна по-прежнему строит против нас баррикады, по-прежнему не брит и насквозь прокурен Иван Иванович, и в глазах его прежняя обида и недоумение.

Заканчивается вторая четверть. Близится Новый год... Сейчас у нас урок географии. В классе холодище, «душу видать» (так мы говорим, когда при выдохе вылетает парок). Половина учеников сидит в пальто, другая половина храбрится в пиджачках, но поёживается. Я в числе тех, кто поёживается. И всё же слушаю, слушаю, наверно, даже с разинутым ртом.

Наш географ Александр Михайлович, как это порой случается с ним, отвлётся от темы и рассказывает об Арктике. О сорокаградусных морозах, о пурге, которая засекает насмерть – слепит, сбивает с ног и потом затягивает упавших колючим снежным саваном. Это какой-то шабаш взбесившихся ведьм. Свист. Вой. Удары в брезент палатки, точно из пушек стреляют. А потом нередко – призрачное безмолвие, глянцевитые барханы снегов и через всё небо волшебные разноцветные всполохи знаменитого северного сияния.

У Александра Михайловича крепкая, кирпичного цвета, шея, худощавое лицо, над высоким благородным лбом с глубокими залысинами – вьющийся золотистый хохолок. Он большого роста, плечистый, статный. Когда он говорит или поёт, заметно, что у него нет многих зубов: это от цинги, которую он перенёс во время полярной зимовки. А поёт он – матросские песни или старинные романсы под гитару – так, что по спине мурашки пробегают: он дважды выступал у нас в клубе. И он красиво смеётся: «Хо-хо-хо!» – сдержанным баском и немного трясётся при этом. Я люблю его слушать и смотреть на него: по-моему, он самый выдающийся у нас в Явенге человек, такой, что мне иногда хочется быть им...

– А шторма в Ледовитом океане? Это вам, друзья, не просто солёная водичка, как на юге или даже на Балтике – пусть и там, в тёплых морях, она бывает высотой с двухэтажный дом!.. Троса леденеют, палуба, что каток, и вертится, проклятая, и то летит куда-то в пропасть, то вздымается на ды-

бы, а сверху с грохотом накатывает очередная лавина – только держись! Так вот раз и смыло за борт – это было в Баренцевом – одного юношу-практиканта, талантливый молодой человек был...

Александр Михайлович подходит к окну и прочищает ногтем в наледи глазок.

А мы сидим и ни звука, и не шелохнёмся. Даже Серёжка, которого недавно посадили вместе с Ниной на первую парту, угомонился и ни гугу.

– А вы плачете: «Холодно, душу видать», – ворчливо произносит Александр Михайлович, потом, вдруг улыбнувшись, энергично потирает руки и говорит: – Прочтите-ка параграф пятый пока. И чтоб – тишина мне!..

Он величественным шагом удаляется из класса – может, покурить, может, погреть в учительской у печки попорченные ревматизмом руки, – а мы послушно открываем учебник по географии и, шурша страницами, ищем пятый параграф.

Минут через десять я готов: прочитал. Серёжка тоже, видимо, прочитал, во всяком случае, отодвинул книгу и опять начал приставать к Нине. Когда их посадили вместе, Серёжка провёл мелом черту посреди парты, разделил её на две равные части, и с тех пор на уроках только тем и занимается, что придиричиво следит, чтобы Нина не вторглась на его половину. Даже на уроках Валентины Фёдоровны, самой строгой нашей учительницы, я нередко вижу, как он мрачно скашивает на сестру свой цыганский глаз и толкает её под пар-

той коленом.

Сейчас он требует, чтобы Нина сняла с себя шубку. Эту шубку Серёжка носил в пятом классе, вырос из неё, и теперь в сильные морозы её надевает Нина. Так нет, отдай его шубку! Ему купили хорошее зимнее пальто, но это для Серёжки не имеет значения. Он громким шёпотом угрожает расправиться с Ниной, если она немедленно, сию же минуту не вернёт ему его шубку.

– Слушай, Серёга, – говорю я. – А не сыграть ли нам в чехарду?

– В чехарду? – Серёжка тут же оставляет в покое Нину. – Сыграем! В чехарду – обязательно! А как же?.. Стёпка, вставай на шухер!

– Я луште посижу, – смиренно отвечает Стёпка. Он в тёплом пиджаке, его не прошибает цыганский пот, как нас.

– А кто тогда встанет?

– Давай без шухера, пошли! – говорю я.

Мы с Серёжкой поднимаемся, но в эту минуту входит Александр Михайлович... Нина, улыбнувшись, бросает на меня благодарный взгляд, и вот за один этот её взгляд, за одну улыбку, подаренную мне, я прощаю ей всё: и то, что она не ответила на мою записку, и то, что она не оглядывается на уроках в мою сторону, и даже то, что она порой посматривает на Сашку Вавилова так, как никогда не посматривает на меня.

В этот день я задержался в школе допоздна, готовя с ребя-

тами новогодний номер стенгазеты. Когда же, усталый и продрогший, прибежал домой, я увидел вот что. Мама постелила чистую скатерть, зажгла лампу с зелёным абажуром и, притихшая, сидит у стола, а папа, подняв очки на лоб, держит у самых глаз письмо и читает вслух. А на столе лежит ещё стопка писем, и я догадываюсь, что это от его бывших учеников, которые теперь сами учителя, агрономы, партийные работники. Они ему всегда пишут под Новый год из Москвы, Вологды, Ленинграда, Великого Устюга и многих других мест, а папа всегда читает вслух, радуется и попутно вспоминает что-нибудь из их школьной жизни.

Я отправляюсь на кухню, достаю из печки суп и поджаренную картошку на сковородке, отрезаю потолще ломоть хлеба, как вдруг до меня долетает задорный и очень какой-то молодой папин смех... Давно я не слышал, чтобы он так смеялся, – пожалуй, с самой Троицы! Я опрокидываю чугунок в миску, хватаю ложку, хлеб и спешу в комнату. Что там так развеселило папу?

А папа, улыбаясь как напроказивший мальчишка, протягивает маме страничку письма, и мама с доброй, чуть грустной улыбкой берёт эту страничку и, оставив ее на вытянутую руку к самой лампе (мама дальнорзкая), начинает читать, поминутно откашливаясь, ровным, немного простуженным голосом.

– «А помните, Евгений Карлович, – читает мама, – что с Вами приключилось, когда Вы однажды жарким летним

полуднем возвращались из Слобод? Вы шли бором и, видимо притомившись, сели отдохнуть на пенёк. Кепку свою сняли, положили на колено. А на ту пору из Троицы брела с молебна одна наша старушка Акулина Ивановна. И вот, порядочно ещё не доходя до Вас, остановилась она, глянула и зашептала (после она сама рассказывала об этом): «Царица небесная, матушка, Никола-угодник!..» И пала на колени и давай креститься – да Вы, конечно, сами это помните!.. И знаете, Евгений Карлович, ведь никто потом не смог убедить Акулину Ивановну до самой её смерти, что не Никола-угодника, а троицкого наставника-агронома повстречала она в Вотчинском бору. «Полно, – твердила она, – своими ведь глазами видела: эдакая сивая бородка и сияние над челом... Сподобилась, благодарствие Богородице Матушке-Заступнице, сподобилась!» Очевидно, Ваша непокрытая голова, а точнее, лысина Ваша отсвечивала на солнце, и старушка сочла сей естественный блеск за святой нимб.



Но это, конечно, шутка, курьёзный случай. А напомнил я Вам, Евгений Карлович, об этом смешном случае неспроста. Давненько уж испытываю потребность сказать Вам, что, учась у Вас в ШКМ и работая под Вашим руководством на опытном участке, а также бывая в Вашем гостеприимном доме, мы, крестьянские ребята, получали не только необходимые для нашей жизни прочные знания, но, смею надеяться, посылно приобщались к настоящей культуре, и в этом

значении мы, Ваши ученики, тоже «сподобились». Ваше бескорыстие, Ваша кристальная честность и преданность любимому труду – высокий пример для нас, потому что это те качества, которыми должны обладать все люди нашего прекрасного коммунистического будущего...»

Папа, сняв со лба очки, ладонью проводит по глазам и молчит. И мама умолкает. А я гляжу на них и думаю, что, если понадобится, буду защищать их до последней капли крови, всегда, всю жизнь, и от этой мысли у меня начинает отчего-то пощипывать в носу, и я прячу своё лицо за тёплую мамину спину.

# Трепетное мгновение

*Доброе дело два века живёт.*

*Старинная пословица*

## Елизарово

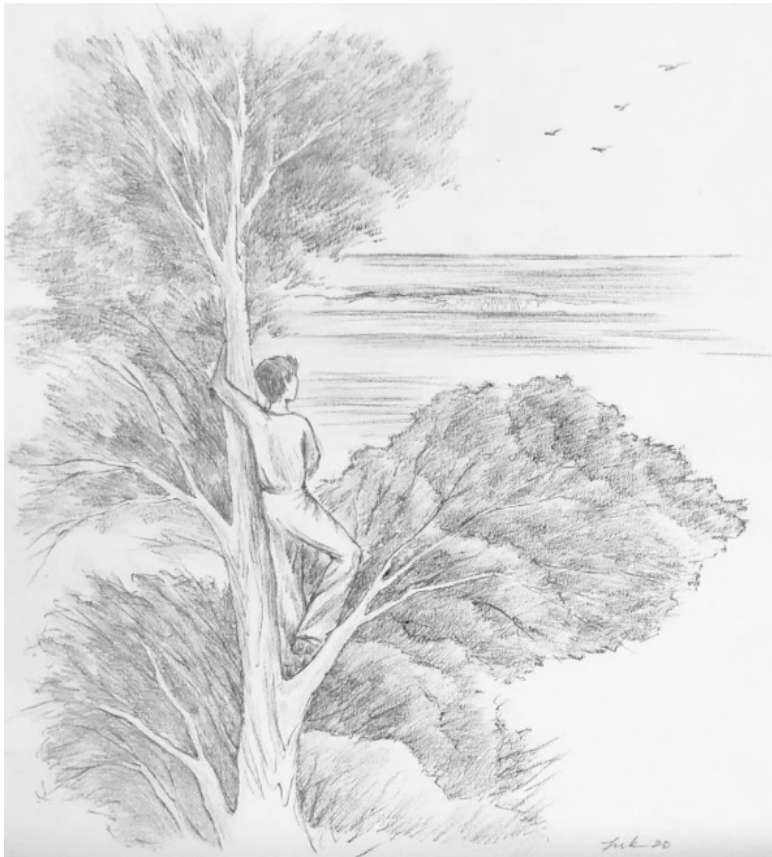
Принято думать, что когда человеку шестнадцать лет, то у него ещё нет прошлого. Если бы вы знали, сколько всего у меня позади!

Два года назад умер папа. С тех пор не было дня, чтобы я не вспоминал о нём. Иногда – очень, правда, редко – я вижу его во сне. А иногда мне кажется, что отец где-то близко, он не умер, вернее, какая-то частица его уцелела и живёт во мне. Я эту частицу называю про себя папиной душой. И когда мне удаётся встретиться с ней, то есть ощутить её в себе, я бываю счастлив.

Сегодня мне хочется рассказать о многом. Завтра, 20 мая, начало выпускных испытаний, нынче я занимался только с утра, а после обеда сделаю кое-какие обычные свои дела и уйду в лес. У меня есть предчувствие, что сегодня я встречу с папой. Во всяком случае, я этого очень хочу: накануне испытаний мне так ведь важно побыть счастливым!

Правда, как я не раз замечал, встречу с отцом надо заслу-

жить. После скверных своих поступков, когда у самого муторно на душе, такой встречи не жди. Но если и специально, вроде бы задабривая кого-то, стараться делать одно хорошее – встреча тоже может не состояться. Счастье-то, видно, не даётся в руки так просто!



То, что я говорю, может, наверно, показаться непонятным, необъяснимым. На самом деле ничего необъяснимого нет. Я буду рассказывать о нашем житье-бытье, и всё станет ясно.

... Сейчас половина второго. Я только что пообедал и сижу за неубранным столом у открытого окна. Передо мной в обозримом пространстве – свежая зелень газонов, клумба садовых гвоздик, похожая на догорающий костёр, ряды прохладных старых лип, пустая, утрамбованная до блеска волейбольная площадка. По одну сторону от площадки тянется полуразрушенная каменная стена с тонкими, кое-где вцепившимися в неё деревцами, по другую – крепкий, выкрашенный тёмной охрой двухэтажный корпус школы. Над верхушками вековых, в солнечных огоньках, лип виднеется поржавевший купол церкви, а меж стволов белеет ладный заборчик, отделяющий территорию школы от сельмага, амбулатории и жилых домов, окружённых яблоневым садом.

Это и есть Елизарово, в былые времена известный на Псковщине монастырь, а ныне местный культурный центр. Сестра Ира работает здесь учительницей русского языка и литературы, она меня и взяла к себе после смерти папы.

Помню, как мы добирались сюда вместе с Георгием Георгиевичем, Ириным мужем. Вначале ошеломляюще прекрасный Ленинград, с золочёной громадой Исаакиевского собора, бело-зелёным, показавшимся чуть игрушечным Зимним дворцом, причудливыми кариатидами и сфинксами, вздыбленными конями и Адмиралтейским шпилем, мерцающим сквозь голубое марево над Невой.

День был жаркий, до отхода поезда на Псков оставалось

часа четыре, и я до одури бродил по Невскому проспекту, Университетской набережной, каналу Грибоедова, пил шипучую, с сиропом, газированную воду и не переставал удивляться: живут же люди! Я далёк был от какого-либо чувства зависти к ним, просто не мог представить, что бы в такой великолепии делал я, четырнадцатилетний мальчишка из глухого лесного посёлка, не мог вообразить подходящего себе занятия здесь и поэтому не смел мечтать о жизни в Ленинграде. Но и тогда я был уже достаточно уверен в своих силах, чтобы, стоя на Университетской набережной лицом к «храму науки», дать себе слово закончить десятилетку с аттестатом отличника и таким образом получить право на беспрепятственное поступление в институт. Конечно, в ленинградский, связанный с морским самолётостроением, – иного я не мыслил себе в ту пору.

Потом был Псков, на осмотр его, к сожалению, не было времени, так как Георгий Георгиевич сразу по приезде нашёл на привокзальной площади попутный грузовичок, который и домчал нас менее чем за час в местечко Елизарово, расположенное на шоссе, или, как тут говорят, на большаке.

И вновь удивление: за массивной оградой – каменный, городского типа дом, яблоки, которые можно срывать прямо с ветки и есть (мне, северянину, это было в диковину), живописные холмы, поросшие неправдоподобно чистым сосновым лесом, озеро с песчаным пляжем и восьмиметровой вышкой для прыжков в воду. И самое удивительное: в семи

километрах от Елизарова проходила наша государственная граница, за которой начинался чужой, страшноватый, враждебный мир. Я в первый же день увидел группу загорелых пограничников, шагавших по большаку, – спокойных и даже вроде каких-то обыкновенных со стороны...

Ах, как мне хотелось подробно-подробно рассказать обо всём увиденном маме, отвлечь её от нескончаемых горестных дум, заставить поудивляться вместе со мной! Многому я тогда удивлялся, впечатления переполняли меня, а на душе жила и ныла острая ссадина: нет папы. Бывало, остановишься на крутом лесистом берегу озера, бродишь взглядом по водной глади, по заозёрным далям и думаешь: красотища-то какая! И вдруг сжимается сердце: а папы нет. Смотришь в воскресный вечер, как танцуют на мосту под гармошку пограничники с деревенскими девушками, интересно, и вдруг щелчок в мозг: любишься, предатель, забыл, что папы нет. И отходишь с тяжестью на сердце.

Первый год особенно трудно было. Но об этом после.

Сейчас мне хотелось дать лишь представление о Елизарове. Остаётся добавить, что Георгий Георгиевич вот уже год как призван на действительную военную службу, находится в танковых войсках где-то на Украине, и мы живём здесь в двухкомнатной квартире вчетвером: сестра Ира, её дочери – четырёхлетняя Леночка и годовалая Наташка – и я. Пока Ира на работе, за девочками присматривает приходящая няня из заозерной деревни.

Ну, и, пожалуй, хватит для вступления.

## Я – домашний учитель

Пора к Косецким. Я даю сегодня свой последний урок.

Моя ученица Муза, кончающая седьмой класс, существо довольно странное. Я с ней целую зиму занимался по математике, три раза в неделю проводили вместе по часу, а то и по два, и уж, думается, можно было привыкнуть друг к другу. Но вот пожалуйста: вытянулась, как струнка, за накрытым скатертью столом и не шевельнётся. Перед ней разложены учебники, задачники, тетради – всё, что может нам понадобиться, но руки Музы под столом, а глаза устремлены куда-то вдаль. Когда я вхожу и здороваюсь, она чуть привстаёт, говорит «здрассте» и снова занимает прежнюю позу. Хорошо ещё, что нас теперь оставляют вдвоём. А то первое время, когда в комнате постоянно торчали мать или бабка, неловко чувствовала себя не только Муза, но и я.

– Что у нас намечено на сегодня? Вопросы подготовила? – спрашиваю я.

Она, как обычно, в хорошо выглаженном платье с белым кружевным воротничком, такая чистенькая, тонкая, розовая, что кажется, раковины её ушей насквозь просвечивают, а щёки даже на глаз горячие.

Прежде чем ответить, она быстро перебирает беспокойными пальцами бахрому скатерти и ещё больше краснеет.

– Мы уже всё повторили...

– Так что же будем делать? – говорю я и ловлю себя на том, что мне нравится – и всё время нравилось – видеть, как ро-беет передо мной эта девочка.

– Я не знаю, – лепечет Муза, – может быть, повторим ещё раз вот это?..

И она своими быстрыми пальцами открывает наугад учебник геометрии и показывает мне: теорема Пифагора.

– Ну, давай формулируй, – говорю я.

Она убирает руки под стол и снова принимается отчаянно тереть скатерть. У неё нестерпимо горячие, прямо ог-ненные щёки.

– Слушай, – говорю я вполголоса, по-прежнему насла-ждаясь её смущением и своим спокойствием и сознавая, что в этом наслаждении есть что-то нехорошее, – ну, чего ты та-кая?

– Какая? – Стремительный взгляд в мою сторону.

– Нервная, что ли?

Она ещё больше выпрямляется – натянутая струнка – и, не глядя на меня, начинает что-то шептать. Это тоже в её манере: на мой вопрос отвечать сперва про себя. А может, это она бранит меня почём зря?

– Муза, я ничего не слышу.

– Теорема Пифагора, – произносит она вслух и потом, скосив краешек глаза на учебник, правильно отвечает.

– А потом ещё раз правильно отвечает и без заглядывания

в учебник.

Я с трудом сдерживаю зевоту.

– Сколько мы с тобой должны ещё сидеть?

– А я никого не держу, – неожиданно с вызовом заявляет она.

– Ну, чего ты? Чего кипяتيشься?

Она вся передёргивается.

– Чего дёргаешься? – спрашиваю я равнодушным тоном.

Ну, что я могу поделаться с собой, если она почти ребёнок? Ещё была бы одноклассницей – другое дело. Можно было бы помечтать, как вместе поедem учиться в Ленинград. Можно было бы поговорить об Александре Блоке или о наших учителях...

– Давай-ка я тебя погоняю по учебнику. И пожалуйста, отвечай сразу, а не шепчи про себя.

Муза вспыхивает. И без того щёки алели – на расстоянии обдавало жаром. А тут, бедненькая, вся, от корней волос до охваченной белоснежным воротничком тонкой шеи, так зарделась, что даже слёзы выступили на глазах.

Ну, что делать? Наверно, благоразумнее всего не замечать её повышенной впечатлительности. Всё-таки осенью, когда мы только начали заниматься, она вела себя по-другому. То же дичилась, краснела, что-то шептала про себя или в сторону, но тогда – я видел – ей было стыдно своего незнания или неспособности что-то понять...

Она влюбилась в меня, дурочка, вот что! Мне бы давно

отказаться от уроков с ней, но, во-первых, она на самом деле стала лучше успевать по алгебре и геометрии (с геометрией у неё особенно не ладилось), а во-вторых, двадцать рублей, которые мне платят за эти уроки, тоже не валяются на дороге.

– Пожалуйста, дай определение сперва точки, потом – прямой, а потом – отрезка...

Она молчит.

– Будешь отвечать?

– Я это знаю, – говорит она, кажется, одними пересохшими губами.

– А я завтра сдаю историю, – неожиданно как-то вырывается у меня.

Опять стремительный взгляд в мою сторону.

– Знаешь, Муза, – говорю я, вспомнив, что от того, как я завтра сдам, во многом зависит, будет ли у меня аттестат отличника. – Знаешь, ты не сердись на меня. Ладно?

– А за что? Я не сержусь.

– Я не очень прилежно занимался с тобой, а у тебя ведь тоже испытания...

– Ну и что?

– Понимаешь, совесть-то моя не спокойна.

– Я выучила всё сама.

– И ещё я тебе хотел бы сказать...

Меня подмывает объясниться с ней по-хорошему и честно, не как презренный Онегин объяснялся с юной Татьяной,

а по-настоящему, в современном духе.

– Что? – говорит она, низко опустив голову и со страшной силой теребя скатерть.

– Сказать, что из всех девочек в Елизарове ты самая... – «лучшая, симпатичная» вертится на языке, но я говорю более сдержанно: – Самая славная.

Она поднимает голову. У неё очень чистый высокий лобик, ясные глаза, а рот великоват. Полные губы нерешительно расплзаются в улыбку, проглядывают влажные скобочки плотно составленных зубов.

– Ты веришь мне?

Она опять клонит голову долу, и я вижу аккуратный пробор на её макушке, две короткие косички по бокам, трогательно беззащитную нежную шею с проступившим острым бугорком позвоночника над вырезом платья. И правда, самая лучшая девочка, единственный недостаток которой в том, что ей всего четырнадцать с половиной лет.

Я встаю.

– Когда ты сдаёшь математику?

– Послезавтра.

– Если ты не против, я приду посижу у дверей.

– Как хочешь. Приходи. Или нет. Или приходи.

## **Мария Августовна**

Не успеваю сойти с крыльца – на узкой дорожке меж ря-

дов цветущих яблонь показывается громоздкая фигура старухи, опирающейся на палку. В свободной руке у неё потёртая клеёнчатая сумка; палкой, прежде чем на неё опереться, старуха угрожающе размахивает и сердито произносит: «Кыш!» Шагах в пяти крадёт за ней семилетний Павлик, брат Музы, он, я вижу, всё целится и никак не может изловчиться залезть в сумку. Судя по тому, что Павлик большой сластёна, в клеёнчатой сумке у его бабки конфеты или печенье, и я уже догадываюсь, по какой причине расщедрилась экономная Мария Августовна.

– Гутен таг, фрау Мюллер, – раскланиваюсь я как можно любезнее, сбегая по ступеням и намереваясь ретироваться.

– О, гутен таг, мой юный друг, я чуть-чуть не опоздала... А вы уже кончили свой урок с Музой? Так быстро?

– Она хорошо подготовилась. Вы можете быть совершенно спокойны за Музу. Ганц руих, – добавляю я для пущей важности по-немецки.

– Кыш, мерзавец! – Лицо Марии Августовны мгновенно делается колючим, а потом на нём снова появляется приторная улыбка. – Мне очень приятно слышать то, что вы говорите про Музу... Может, по этому поводу вы выпьете с нами чашечку чая?

Она всю зиму занималась со мной немецким – она чистокровная немка, – и, хотя я ей должен быть благодарен, мне жалко сейчас терять время на чаепитие.

– О, спасибо! – отвечаю я по-немецки. – К сожалению, я не имею времени, завтра утром я должен держать своё первое испытание, оно очень серьёзно.

Пока я выговариваю эту длинную фразу, а Мария Августовна благосклонно внимает мне, по привычке прислушиваясь к моему произношению, Павлик таки ухитряется запустить в сумку свою лапу.

– Стой, негодяй! Оставь! Сейчас же верни! – покраснев, выкрикивает Мария Августовна, стучит палкой по дорожке, и её жидкие седенькие волосы, растрепавшись, спадают на лоб. Она берёт сумку под мышку, вынимает из кармана фартука не очень свежую тряпку, заменяющую ей носовой платок, и начинает вытирать впалый рот и выступающий вперёд подбородок. А Павлик улепётывает меж цветущих яблонь к пролomu в монастырской ограде, за которой среди старых елей поблёскивает речка.

– Остановите его! Задержите!.. Это невозможно! – вся трясётся от негодования Мария Августовна.

– Ганц герн (очень охотно)! – откликаюсь я действительно очень охотно, потому что могу теперь со спокойной совестью удрать.

И я припускаю за Павликом, но не так, конечно, быстро, чтобы поймать его. Павлик удачно минует лаз, а я делаю вид, что не могу долго пролезть, что мне стоит труда перебраться через груды камней и протиснуться в неширокую дыру в стене.

И вот мы наконец вне поля зрения Марии Августовны, хотя и слышим её возмущённый голос.

Павлик на ходу запихивает в рот похожий на дощечку медовый пряник, торопливо уминает его, придерживая торчащий конец обеими руками.

– Стой, подавишься! – говорю я. – Да не спеши ты так, разбойник!

Павлик останавливается, но продолжает быстро-быстро жевать, пока коричневый уголок пряника, заталкиваемого перепачканными пальцами, не исчезает совершенно в его большом, как у сестры, рту.

Зеленоватые глазёнки его смеются, счастливые. Он меня не боится, знает, что я его не трону.

Вообще-то он мальчишка проказливый, сладкоежка и драчун. Иногда из-за лакомств он дерётся с Музой.

Прошлой осенью я был свидетелем, как Муза что-то отнимала у него, а он, схватив сестру за косу бил ее кулаком в грудь. Прямо зверёныш маленький. И зубы у него мелкие и острые, как у грызуна.

Но я действительно не трону его, что бы он ни сотворил.

У Павлика и Музы нет отца. Говорят, что отец бросил их. Мне это трудно представить себе, но вот говорят. Как будто поэтому мать Павлика и перебралась с семьёй на жительство из Пскова в Елизарово. Кстати, она моя учительница по литературе. Хорошая учительница, ничего не скажу. Только капельку пришибленная какая-то и часто повторяет, что стра-

дания облагораживают человека.

Павлик уже управился с пряником, вытирает кулаком рот, довольный. Мы садимся рядом на поваленное дерево на обрывистом берегу речки.

– Ты что действуешь, как налётчик? Что, не мог по-хорошему попросить? – спрашиваю я.

Два острых зелёных глаза испытующе устремляются в мои глаза. Глаза в глаза.

– Она мне не дала бы, – убеждённо говорит он.

– За чаем дала бы.

– А может, и не дала бы. Она такая. Она и маме может не дать. Она знаешь какая... – Он задумывается, глядя в воду, и умолкает, не договаривает.

– Всё равно, Павлик, нельзя. Она очень старая, больная, еле ходит. А ты смотри какой крепыш!

– Я весь в отца, я такой! – с гордостью заявляет Павлик, и снова зелёные треугольнички его глаз пытливо заглядывают мне в глаза.

– Поэтому она с тобой и строгая?

– Поэтому. Поэтому она и за Музку заступается всегда, потому что Музка в ихнюю породу, в бабкину. А я вылитый отец.

Мы оба некоторое время молчим.

Хотелось бы спросить, что у них в действительности произошло в семье, но он, конечно, слишком мал.

– Возьми у меня в долг двадцать копеек, купи такой же

пряник и верни бабке. Только не говори, что я дал деньги.

– А ты ещё придёшь к нам? – Павлик доверчиво выставляет ладошку, сложенную лодочкой. – А где я тебе потом возьму двадцать копеек?

– Я могу долго ждать, если только больше не будешь разбойничать.

– Разбойничать не буду, – обещает Павлик и зажимает в кулаке тусклую монетку. – Ну, я пойду.

А я ещё долго сижу на поваленном дереве. В голову лезут всякие грустные мысли. Плохо жить без отца. Всё равно, какой бы он ни был. Если он с тобой – есть его рука, которую всегда можно потрогать. Не каждый это поймёт.

Я возвращаюсь через цветущий сад к дому Косецких, подхожу к раскрытому окну. Мария Августовна, похоже, до сих пор не успокоилась.

– Боже, что за дети растут! – восклицает она, показываясь в раме окна с взлохмаченными волосами, в сбившемся на бок несвежем фартуке.

– Он больше не будет, он обещал мне, Мария Августовна, – говорю я.

– Благодарю, – отвечает она нетвёрдым голосом. У неё покрасневшие от слёз веки, и она спешит скрыться в глубине комнаты.

Тоже несладкая жизнь у старухи, если разобраться по-человечески.

## Кое-что о воспитании характера

Теперь, по расписанию, мне надо наготовить дров. Это моя обязанность, которой я никогда не пренебрегаю. И не только потому, что я единственный мужчина в семье не только потому, что дрова требуются каждодневно – топить печку и варить обед. С известной поры физический труд стал мне нужен для закалки характера.

Дощатая дверь сарая распахнута, и изнутри вместе со струистым ароматом свежеразрубленного дерева доносится равномерное тупое постукивание колуна, сопровождаемое шумным выдохом: «Хэк!» Я уже знаю, не заходя в сарай, кто там, по этому «хэк». Меньше всего мне хотелось бы перед завтрашним испытанием встретиться с историком (мелькнуло даже – повернуть обратно), однако откладывать работу – не в моих правилах, тем более что к вечеру мне надо быть свободным от всяких дел.

Историк, в одной майке, широко раздвинув ноги, стоит перед здоровенным чурбаком. Лицо с ямкой на подбородке мокрое от пота. Майка на животе почернела кругом. Колун держит за конец отполированной ладонями деревянной ручки, свесил его меж ног, дышит часто, а на лбу, как будто он на уроке приготовился отвечать на трудный вопрос ученика, обозначилась резкая изогнутая морщина – вершиной угла к переносице, – словно птичка с поднятыми крыльями,

такая птичка-морщина.

– Привет, – отвечает он мне, кладёт колун на свою еловую чурку, вытирает лицо носовым платком и вместе с потом, кажется, стирает морщину со лба. Потом неторопливо отходит в угол и достаёт из кармана пачку папирос «Звёздочка».

– Придётся клином разбивать, – кивает он на свой сучковатый кряж. – Измучился с ним, с дьяволом, никак не поддается.

– Оставьте его до зимы, на морозе с одного удара лопнет, – говорю я, изготавливаясь к работе.

Николай Иванович легонько усмехается.

– До зимы-то сперва дожить надо. Дадут ли ещё нам акулы империализма до зимы дожить?.. А кроме того, негоже венцу природы отступить перед неодушевлённым предметом.

Я не без понимания осматриваю его еловую дровину: сучок на сучке. А сверху на срезе не меньше двадцати вмятин от ударов колуна. На месте Николая Ивановича я давно бы плюнул на этот чурбак. Я тоже, бывало, разозлившись, мучился над такой же деревинкой, думая, что стыдно пасовать перед трудностями, и ничего другого не желая принимать в расчёт.

– Если у вас, конечно, есть время... за полчаса расколете.

– За пять минут, – решительно объявляет Николай Иванович!

– За полчаса, – настаиваю я.

Николай Иванович с интересом взглядывает на меня,

и на невысоком лбу под шапкой лесенкой взбегающих волос прорезается птичка-морщина.

– Откуда ты взял?

– Собственный опыт...

– Ага. Тоже характер воспитывал? Характер надо воспитывать всю жизнь. Ясно. – и, сбросив колун на землю, он присаживается на чурбан, затягивается папиросой.

Я раскалываю с одного удара щелястый сосновый полукряжик.

– Хорошо, – говорит Николай Иванович и неожиданно спрашивает: – К завтрашнему готов?

– Учебник проработал.

– Весь? – удивляется он.

Я устанавливаю перед собой второй полукряжик, тоже лёгкий.

– Весь...

Дело в том, что всего неделю назад нам прислали новый учебник по истории и предупредили, что на испытаниях будут спрашивать по нему. Сам Николай Иванович и предупреждал.

– Когда же ты успел?

– Да успел...

Я спрятался от всех на чердаке школы, соорудил там себе возле слухового окна стол из снятой с петель старой двери и в этой идеальной по тишине и уединённости обстановке за четыре дня проштудировал новый учебник. Правда, си-

дел часов по двенадцать, обливаясь потом. Было солнечно, и железная крыша к полудню так раскалялась, что я на расстоянии полутора-двух метров макушкой ощущал, какая она горячая. Ни о чём об этом я, конечно, Николаю Ивановичу не рассказываю. Зачем?

– Ну, молодец, – говорит он. – Молодец, что успел.

Между прочим, во время войны с Финляндией Николай Иванович был политруком роты, штурмовал «линию Маннергейма», но о своих боевых делах он почему-то никогда не вспоминает. Из скромности, вероятно.

Я разбиваю третью, а затем четвёртую плаху, и Николай Иванович, потушив окурок и тяжело отчего-то вздохнув, снова берётся за колун.

– А знаешь, ты, пожалуй, прав, – говорит он вдруг. – Сила не в упрямстве, а в верности цели...

Он веселеет, улыбается, отпихивает ногой сучковатую деревину и ставит на её место другой чурбак, поровнее.

– Цель, – говорит он, – обеспечить жену дровами... а мы вот, бывает, тюкаем и тюкаем в одну точку и всё без толку. Те же начётчики и талмудисты...

Ну, это он уже по своей специальности размышляет вслух. Я в тонкости его предмета не вхожу.

Я скидываю в кучу отдающие скипидаром поленья и, присев на корточки, набираю первую охапку.

## Избранное общество

Они уже караулят меня. Расселись, как обычно, на лавочке под липами напротив волейбольной площадки, болтают, посмеиваются, а сами смотрят во все глаза, чтобы не упустить меня. Ребята, конечно. Девочки-то представляются, будто им всё равно.

Особенно эта кривляка – Женечка. Курносенькая. Жеманная. Настоящая провинциальная барышня начала века. Но братьям Горуновым, Михаилу, а пуще него Шурке, она кажется красавицей. Уму непостижимо! Михаилу шестнадцатый год, он кончает восьмой класс, а Шурке, по-моему, и четырнадцати нет, и он туда же. Да ещё крепче, настырнее волочится за ней, чем брат. С ума сходит по Женечке. А она это чувствует, поводит, будто ей зябко, плечами и отводит от меня деланно-безразличный взгляд. Понимает, что вижу её насквозь.

А к Виктору она почему-то не имеет претензий, хотя он, как и я, равнодушен к ней. У Виктора на диво спокойный, уживчивый характер, лёгкий характер. Он никогда ни на кого не обижается. А уж потешить публику, посмешить – любит страсть! И прекрасно поёт. Бывает, идёт по большаку в сельмаг за хлебом и во всю силушку заливается: «Мы идём по полям золотистым, и бойцы, молодые поют, песня звонкая артиллеристов, ты звучи, как салют». Слух у него отлич-

ный, голос звонкий, поэтому и не стесняется.

Правда, внешность у него довольно оригинальная (может, потому Женечка и не имеет к нему претензий). Голова ярко-рыжая, кудрявая, лицо до такой степени заляпано веснушками, что глядеть неловко: на лице больше бурого, чем светлого. Умные лукавые глаза, хорошие по выражению глаза, но с белыми, как у молодого поросёнка, ресницами. Плечи узкие, острые, на них, словно на вешалке, болтается синий суконный пиджачок. А почему он почти всегда в этом пиджачке или в рубахе с длинными рукавами? Потому что у него и руки все в веснушках. Вот уж поистине под солнцем парень родился!

Все они, за исключением Шурки, ученики сестры Иры: Виктор, Михаил, Женя и ещё две из их компании девочки. Ирина была их классным руководителем...

Так вот сидит эта почтенная елизаровская публика под липами – в центре, естественно, Женечка, – шутят, посмеиваются, спорят о чём-то и глядят, когда я с последней охапкой дров скроюсь в дверях.

Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж и спиной чувствую, что они тронулись следом: впереди Виктор и Шурка, за ними Михаил. Девочки остаются на месте.

Я сбрасываю поленья к печке, снимаю с гвоздя ключ от библиотеки и упрятываю подальше в задний карман брюк. Потом выхожу в коридор объясняться.

Ребята просят волейбольную сетку и мяч, которые я

на правах общественного физорга (комсомольское поручение) храню в школьной библиотеке (я ещё и библиотекарь). Я сам с удовольствием постучал бы с ними часок-другой, но наш директор строго-настрога запретил играть в волейбол в дневные часы, чтобы не мешать готовиться к испытаниям тем, кто живёт в интернате – тут же, в помещении школы, на первом этаже, как раз под нашей квартирой.

– Понимаете, запретил до пяти строго-настрога, – говорю я.

– Да мы потихоньку, потихонечку! – нежно и горячо шепчет Виктор, моргая белыми ресницами.

– Н-ничего н-не слышно б-будет, – заверяет подоспевший Михаил и зачем-то втягивает остриженную под машинку голову в плечи. У него и так короткая шея, а он её ещё сокращает.

– Отберёт мяч, он же предупреждал...

– Тю! – презрительно произносит Шурка. – Да только он покажется – даю слово... мяч в охапку и дёру. И закину в твою библиотеку, только окно оставь открытым. А потом пусть докажет. Мяч на месте. Ты ни при чём.

Шурка большой фантазёр, на словах смел, но на деле, как я не раз убеждался, первым поджигает хвост. С той же Женечкой, например. Узнал как-то, что она посидела часок с одним девятиклассником (в интернате парень живёт) у себя под окошком в саду, пришёл из своего Замельничья красный, злой и заявил, что поколотит этого парня. Однако стои-

ло девятикласснику выйти на крыльцо, как Шурка скис, что-то залопотал себе под нос, какие-то неопределённые угрозы, и незаметно исчез. Это он мастак – исчезать своевременно. Поэтому на Шуркину болтовню я попросту не обращаю внимания.

– Я же тебе обещаю – *потихонечку!* – ласково убеждает меня Виктор. – Во-первых, только попасуемся; во-вторых, никто громко слова не скажет, ни-ни – голову даю на отрез; а в-третьих... время-то уже три часа!

– Да уже б-больше, наверно, т-трёх, – пыхтит-старается Михаил.

– Ясно, больше; точно, больше! – рубит Шурка.

А-а, была не была! Я отсылаю ребят вниз и через несколько минут спускаюсь к ним с волейбольной сеткой и мячом... Почему я всё-таки уступаю? По слабости характера? Или хочется самому поиграть? Или подсознательно – в ожидании встречи с папой – стараюсь быть подорожее?..

Теперь я сижу под липами, а ребята и девочки безмолвно, как в немом кино, передвигаются по площадке, подают мяч, принимают, пасуют, навешивают на сетку, гасят или подсиживают... Шурка, когда мажет, яростно жестикулирует, но рта не раскрывает; Виктор, прыская со смеху, не забывает, словно он на уроке, прикрыть рот ладонью; даже Женечка не осмеливается нарушить наш уговор, вернее, условие, которое я перед ними поставил: играть молча.

Снизу вверх я гляжу, как летает в воздухе серебристый

мяч, чуть звенит при подаче, мягко цокает, касаясь пальцев и, отскакивая от них, перемещается туда и сюда, выше, ниже и очень редко с тугим стуком ударяется о землю. Надо сказать, что у нас в Елизарове хорошие волейболисты, а хорошие потому, что почти все ребята прошли школу Васи Внукова, сына здешнего фельдшера.

Я гляжу не только на площадку, но и по сторонам, чтобы при появлении директора остановить игру и пойти объясниться. Сам я играю средне, не хуже, конечно, Виктора или братьев Горуновых, но, я в общем-то, средне, как я считаю, хотя тоже учился у Васи.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.